

Иван Вольнов

**Повесть о днях моей**

**ЖИЗНИ**



Иван Вольнов

**Повесть о днях моей жизни**

«Public Domain»

1912

## **Вольнов И. Е.**

Повесть о днях моей жизни / И. Е. Вольнов — «Public Domain», 1912

«В орловской степной полосе, прижавшись плетневыми гумнами к мелководной речушке Неручи, раскинулось наше село Осташково-Корытово. С восточной стороны оно упирается в бор, с запада идут „бурчаги“, „прорвы“ и овраги, а на юге, на горе, усадьба князя Осташкова-Корытова с белой круглою церковью, каменными службами, конским заводом и садами. Побуревшие соломенные крыши курных изб, плетни, корявые раkitки, десяток ветел у реки и деревянная облупленная церковь рядом с благоустроенным барским имением похожи на кучку нищих, усталых, больных и голодных, которые присели отдохнуть. Село тянется извилистой лентой вдоль реки: по одну сторону – избы, по другую – клуни и сараи, а на конопляниках – овины...»

© Вольнов И. Е., 1912

© Public Domain, 1912

## Содержание

Книга первая	5
Книга вторая	51
Конец ознакомительного фрагмента.	64

# Иван Вольнов

## Повесть о днях моей жизни

### *Крестьянская хроника*

#### Книга первая

#### Детство

#### I

В орловской степной полосе, прижавшись плетневыми гумнами к мелководной речушке Неручи, раскинулось наше село Осташково-Корытово. С восточной стороны оно упирается в бор, с запада идут «бурчаги», «прорвы» и овраги, а на юге, на горе, усадьба князя Осташкова-Корытова с белою круглою церковью, каменными службами, конским заводом и садами. Побуревшие соломенные крыши курных изб, плетни, корявые раkitки, десяток ветел у реки и деревянная облупленная церковь рядом с благоустроенным барским имением похожи на кучку нищих, усталых, больных и голодных, которые присели отдохнуть. Село тянется извилистой лентой вдоль реки: по одну сторону – избы, по другую – клуни и сараи, а на конопляниках – овины.

Исстари Осташкове делится на пять концов: Новую Деревню, Пилатовку, Сладкую Деревню, Драловку и Заверниху. Жители Сладкой Деревни буйны нравом, славятся драками и пьянством. Чуть не под самыми их окнами барин сеет бураки для коров; по осени мужики воруют овощ, а при оплошности жестоко платятся боками от помещичьих черкесов и рабочих. Раз-два в неделю у них производится урядником обыск. Сначала отбирают бураки, потом ищут траву. Ее урядник узнает потому, что на наших лугах вообще не растет никакая трава, и косить, стало быть, нечего, так как вместо лугов у нас «мысы» какие-то: Попов мыс, Терешкин, Сухонькое, Долгонькое, Жуковы Портки, – где много щепня, лисьих нор, буераков, мусора, прошлогоднего навоза, полыни и крапивы, но где мало съедобной травы, а трава с помещичьих лугов, которую воруют бабы, жирна, свежа и зелена; в ней попадаетса осока, рыжий конский щавель и мягкий красный клевер. На Ягодном же поле, под березками, растет люцерна, «тимощка» и вика. А еще дальше – еще что-то растет.

Бураки – еда сладкая; деревня, которая ворует их и отсиживает за это под арестом, прозвана Сладкой Деревней, Лакомкой.

Пилатовка – от Понтия Пилата, судьи двуликого, усердного. По бабе одной, – «Верую» читала: «Припантей распилати меня, хосподи, Варвару Шарапову». Пилатовка – рассадник свежих новостей, удивительных слухов и сплетен. Народ мелок, белоглаз и беловолос, ленив, беспечен. Весною, как только покажутся проталинки, на проталинках зачувикают жаворонки, грачи хозяйственно пойдут проверять дороги, пилатовцы любят греться на солнышке, сложа на животе руки, заваланные за зиму, закоптелые, с перьями в волосах, глаза – по ложке; летом – звонко ругаться по заре; круглый год – судачить. Мужики – смертные охотники до перепелиной ловли на дудочку, бабы – модницы. В каждом пилатовском доме – хохлатые голуби разных мастей и «заводские» куры, необыкновенные перепела, удочки и дудочки. Ни у кого нет таких хороших прозвищ, как у пилатовцев: Куриный бог, Собачий царь, Шельма-в-носу, Астатуй Лебастарный, Маньчжурия, Недоносок.

В Драловке бьют жен, свежуют палый скот, ходят по попам и дворовым резать свиней и овец, пьют до белой горячки вино, увечат под пьяную руку детей и плачут по-бабьи, катаясь по полу и ломая в отчаянье руки, когда жить становится невмоготу.

Я – из Драловки.

Заверниха и Новая Деревня – глоты. Там народ степенный, рассудительный, гордый. Попади к ним в лапы – всю родню забудешь. Из Завернихи и Новой Деревни выбирают сельских старост, ктиторов церковных, судей волостных и председателей, а сотских – от нас, из Драловки, потому что сотский должен быть битым и урядником, и старшиной, и становым, а новодеревенцу не с руки получать оплеухи и заверниховцу не с руки. Из Сладкой Деревни сотских совсем не выбирают – боятся: сладко-деревенец – лакомка, или нагрубит начальству, или что-нибудь украдет; пилатовец – легкомыслен и нерадив, пойдет с эстафеткой к господину земскому начальнику, а очутится на перепелиной ловле да еще удивляться после станет:

– Чума его знает, как занесло меня туда. Мне бы идти да идти, куда надо, а я, вишь, вот куда затесался, братец ты мой! – станет, разинув рот, и поддегивает штаны.

Сотскими испокон века драловцы, потому что терпеливее их нету никого: и бессловесны, если «не под байкой», и не кричат, а кланяются, когда бьют их.

Родился я в коровьей закуте зимою, под крещение, часа в четыре дня.

Долго ли мать возилась со мной, я этого не знаю, но когда принесли меня в избу, синего от стужи и заиндевевшего, все решили, что я – не жилец на белом свете. А мать не верила.

– Не с первым такая оказия, – сказала она, влезая на печку, – выживет!

Я и выжил, слава богу, и только кривые ногти на руках да выщербленное левое ухо – все знаки от мороза.

В рабочую пору, когда дома никого не оставалось, меня затворяли на крючок в избе, и я спал на полу с поросятами, кошкой Прасковьей и собакой Мухой, играл с ними, разговаривал, дрался из-за еды, пел песни. Под лежанкою привязан был теленок Ванька, самый большой из нас и самый смирный. Мы часто обижали его. Муха лаяла, Прасковья прыгала на спину и царапала затылок, а поросята, Миколка, Вьюн и Непоседа, таскали от него солому к себе под печку, а если Ванька не давал, кусали за ноги. Я учил теленка хрюкать, как Миколка, лаять, как Муха, и визжать, как Вьюн, а он не понимал и отмалчивался. За это я бил его старым лаптем по голове, приговаривая:

– Не слушаешься, супротивный? На, – получи!

Наигравшись, отдохали. Поросята убегут под печку, а я, бывало, прижмусь к теленку, обхватю его шею руками, а голову положу на теплый живот. Рядом мурлыкает кошка, обнявшись с Мухой, Ванька расчесывает языком мои волосы или жует подол рубахи, тихонько подергивая, а я не разберу спросонок – кто это, вскочу и спрашиваю:

– Мам, это ты?

Опомнившись, опять уткнусь и задремлю. В обед или перед вечером придет с работы мать. По смотрит на нас, засмеется:

– Ишь, два Ваньки лежат – красный и белый... два бычка.

Теленок был красный, а мои волосы – белые.

Как сквозь далекий, полузабытый сон, мерещатся другие сцены.

Вот я – совсем маленький, бегаю по избе без штанов. На лавке сидят старшая сестра моя Мотя и мать. Сестра прядет лен, а мама сучит нитки. За столом отец ковыряется со старым хомутом, напевая:

– Господи поми-илу-у-уй! Дед бабку поки-ину-у-ул...

Зима. Хочется побегать по улице, покататься, попрыгать, но мы – бедны и одеться не во что. Для меня притащили санки в избу. Я пою самодельную песню, хлопаю кнутом по земле и кричу: но! – а мать, отец и Мотя смотрят на меня и смеются:

- В извоз, сынок, собрался?
- В извоз! – кричу я весело. – За угольем!

Потом, помню, вошла тетка моя, сестра матери. Помолвившись на иконы, она сказала:

- Ты что же, жених, без штанов щеголяешь, а? Вот я товарищам на улице скажу!

Мне в первый раз стало стыдно. Улучив минутку, я наедине попросил мать сшить мне новую «железную» рубашу и портки «с потолком», как у отца. Синюю замашную рубашу я звал «железною».

Другие сцены:

Присев на корточки и обхватив меня руками, чужой высокий парень расспрашивает меня:

- Ты чей?
- Материн.
- Ловко! А еще чей?
- Отцов.
- Тоже ловко! Как тебя по батюшке?
- Не знаю.

Приятель мой, Мишка Немченко, подсказывает:

- Говори: Петрович.
- Петрович.
- Верно! – крутит головой парень. – А по матушке?
- Петрович.
- Врешь, это – по батюшке, а по матушке – Маланьич. А по сестре?
- Петрович.
- Вот ты какой дурак! По сестре ты – Матреныч.
- Матреныч.
- Ну, говори теперь сразу.
- Петрович, Матреныч...

Я забываю, и мне стыдно. Пытаюсь вырваться из его рук, но они – такие волосатые, крепкие. Я только жмусь. Он научил меня скверно ругаться и посоветовал повторить это за обедом, за что меня похвалят и дадут гостинец. Когда я так сделал, все положили на стол ложки и смотрели на меня во все глаза. Я повторил. Отец вытащил меня из-за стола и бил, расспрашивая, кто меня научил и когда.

Я говорил:

- Чужой парень.

А ему нужно знать, как парня зовут. Подумав, что я скрываю из упрямства, он бил меня еще то хворостиной, то веревкой.

Потом мать сказала:

- Будет, он еще не понимает... Брось, Петрей!

Мать моя редко смеялась. Девушкой она любила одного парня и семнадцати лет вышла за него замуж, но, копя осенью в овраге торф, этот парень простудился и умер. Замужество ее продолжалось два месяца. Мать не любила говорить о том, как ей было тяжело и как она плакала.

Через шесть недель после поминок деверь сказал матери:

- Шла бы, девка, к отцу, теперь ты лишний рот у нас.

Мать подчинилась.

Когда она лето работала, родители молчали, но к зиме стали попрекать то тем, то этим, придираясь ко всякому слову.

– Замуж выходи, – говорили ей. – Тебя и так кормили до семнадцати годов, а теперь опять навязалась на нашу шею!..

А мать было решила замуж не ходить. Тогда они сговорились с кем надо и выдали ее вторично за моего отца, Петра Лаврентьевича Володимерова.

Мать вопила во весь голос, грозила утопиться иль чего-нибудь еще наделать, а бабы ее урезонивали:

– Не глупи, Маланья... Эка, право, ты! Поплачешь малость и забудешь... Перестань!..

Так оно и вышло: мать поплакала и перестала.

Помню, в троицу как-то сажу у окна. Отворяется дверь, входят мать и отец, за ними чужие мужики и бабы – все навеселе. Помолившись богу, расселись по лавкам, на скамейке и кутнике. Одна баба – в желтом завесе, выступив на средину избы, подбоченилась и стала плясать, помахивая белым платочком: «Й-их! й-их! чики! чики!» – а мать хлопала в ладоши, смеялась и пела:

Вот Егор, ты Егор  
Да Егорушка,  
Кучерявая твоя  
Вся головушка.

Я подсел к ней поближе, тоже смеюсь:

– Ну-ка, мама, еще! Ну-ка еще!..

Приходи, кума, за медом – меду дам,  
Приходи, кума, вечерять нынче к нам!.. –

запела мать другую песню. Обернувшись, обняла меня за шею и сказала:

– Загуляли мы нынче, сыночек! Троицу веселую справляем!

Я эту сценку хорошо помню, тогда было много солнца и у всех – милые, славные лица. К нам в окна смотрела молоденькая нарядная береза, тоненькая и нежная, как церковная свеча, а по улице ходили девушки и пели весенние, звучные песни; мать моя тоже смеялась и пела.

Еще один случай, – не помню, когда это было – раньше иль позже описанного, – я ходил тогда по лавке.

Поздним вечером, на масленице, отец, помню, сидит ужинает. Мотя спит. Мать возится на кутнике. Положив руки на стол и склонив из них голову, отец о чем-то думает. На конце стола, у лампы – полштоф водки. Отец время от времени «прикладывается» к полштофу, а я стою около него, держась рукой за шею, и пою ему песню про сиротку Машу.

– Ел бы, песенник, блины с отцом, – кричит мать. – Будет тебе, – завтра напоешься.

Я сажусь к отцу на колени, тереблю его бороду.

– Вина хочешь? – спрашивает он.

– Давай.

– Что ты делаешь, не надо! – подскочила мать.

А отец ей на это ответил:

– Ничего, он немножко, пускай привыкает, пока я жив.

Выпив глотка три, я стал еще веселее. Соскочив на пол, показал, как ходит пьяный Гуля и как пляшут парни с девками на улице, еще что-то сделал сметное, а потом опять взобрался на колени к отцу и опять ему пел про сиротку Машу.

Посидев с полчаса, залезли на печь, и отец крикнул матери:

- Маланья, слушай!
- Песни, что ли, петь собираешься? – спросил я.
- Да, – сказал отец и заорал во всю глотку:

Как приехал мой миленький с поля...

Мотя проснулась на лежанке, зашмыгала носом и завозилась.

– Матрешила, лезь к нам, – сказал я. – Отец теперь всю ночь будет петь: все равно ведь не уснешь...

Сестра пожевала спресонок губами, поскребла в голове и опять уткнулась в подушку.

– Эка соня! – упрекнул я. – Только б дрыхнуть!..

А отец кричал:

Он поставил коня край порога...

Обратившись ко мне, сказал:

– Подтягивай, чего ты ждешь!

Сам заплакал, край коника стоя, –

подхватил я.

Несчастливая-ая на-ша с тобой до-о-ля... –

запели мы вместе.

Мой голос дрожал и срывался, а голос отца ревел, как колокол. Под конец я стал сбиваться, путая слова.

– Это ты нарочно, что ль, щенок? – спросил отец.

– Какой там черт нарочно: слова позабыл! – ответил я.

Отец расхохотался.

– Ты отвечаешь словно большой!

Мать, сидя на лавке, прошептала:

– Полуношник, кобель старый!

Я сказал отцу:

– Тебя мать кобелем назвала, слышал али нет?

Отец ответил:

– Вот я ей сейчас всыплю за это; я ей дам кобеля, – и полез с печки.

Мать выскочила в сени, а мы зажгли лампу и стали пить вино.

– Давай напьемся досыта, – сказал я, – то-то мать рассердится!

– Верно, – согласился отец, – давай!

Выпив рюмку, я сказал:

– Ты мать мою не бей.

– Почему? – спросил он.

– Жалко ее.

Отец нагнулся и засопел.

– Она – хорошая, нужда только заела нас... Другой раз не утерпишь...

– А ты кого-нибудь другого. Чужих лупи!

Отец закрыл лицо руками.

– Плачешь, что ли? – спросил я, дергая его за локоть. – Брось, – не маленький, смеяться будут.

Отец спихнул меня с колен, стукнув кулаком по голове.

Ночью я бредил и весь пост пролежал в горячке.

Изба у нас – маленькая, курная. Когда мать затапливала печь, мы садились на пол для того, чтоб дым не выедал глаз. Двери отворялись настежь, и дым серым коромыслом тянулся в сени, оттуда на потолок, пробиваясь сквозь трещины и прорехи в крыше.

Как-то, гоняясь за курами, которые оравой набивались в избу, вышел я в сени. Первое, что увидел я там, была огромная свинья у корыта.

– Эге, – сказал я, – какая барыня – повыше меня!

Подошел и погладил ее, заглянув в корыто.

Свинья повернула голову, хрюкнула и ткнула меня под бок носом. Я упал.

– Ты за что же?

Свинья, наклонившись над моим лицом, обнюхала, сопя, чавкая и обнажая острые клыки.

«Сейчас проглотит», – с ужасом подумал я и заорал благим матом.

Это было мое первое сознательное чувство страха.

Два раза я напивался в детстве пьяным.

Играя однажды со своим двоюродным братом, ровесником, у них в избе, мы нашли в шкафу бутылку с водкой.

– Хватить, что ли, с горя? – спросил Тимошка.

– С какого горя?

– Я не знаю. Так мой тятя говорит.

– А мой говорит не так, – сказал я. – Мой говорит: «Али пропустить по маленькой?»

– И то не плохо, – засмеялся Тимошка.

Он налил в рюмку вина и проговорил:

– Ты будто ко мне в гости пришел. Будь здоров, сваток!

– Кушай на здоровье, – ответил я, подражая большим.

Отпив немного, двоюродный брат наполнил рюмку снова.

– Принимай, сват.

– Будьте все здоровы! – Я раскланялся на все четыре стороны.

У окна сидел работник, Сенька Секлетарь, – мальчишка лет одиннадцати, а нам в ту пору шло по пятому году.

– Ванюшка пьет лучше, ты не умеешь, – сказал Сенька, следя за нами. – Если б я – по всей бы хлопал!

– Как же – лучше! – ответил Тимошка. – Смотри-ка! – и он выпил целую рюмку.

Потом Сенька подзадорил меня, потом опять Тимошку. Взрослых в избе не было; мы выпили много, а когда валялись на полу пьяными, он нашел мою мать и рассказал ей обо всем.

– Я им говорю: бросьте, дураки, обопьетесь! – а они не слушаются: не твое, брат, это дело, и водка не твоя.

Нам по очереди разжимали свайкою зубы, лили в рот парное молоко. Как протрезвились, не помню.

Другой раз напился дома.

Сошлись в праздник гости к нам, и отец угощал за обедом всех вином: гостей, мать и Мотю, а меня обнес.

«Я – большой, почему ж он обносит? – подумал я и надулся. – Может, он забыл?»

Но вторично – то же самое. Я перестал есть.

– Ты что же, свинопас, сидишь сложа руки? – спросили меня. – Таскай говядину.

– Я не свинопас, – ответил я.

– Ну так – курошуп, – сказал чужой старик.

Я промолчал и, достав из кармана горсть семечек, стал лущить их, выплевывая шелуху на скатерть. Отец искоса посмотрел на меня, подумал, вытер ложку о подол и треснул ею меня по лбу.

– Эге – шишка? – засмеялись гости. – Это тебя Николай-угодник сзади шлепнул.

Нырнув под стол, я просидел там до конца обеда.

Подвыпившие мужики шутили.

– Петр Лаврентьич, – говорили они отцу, – щенок-то у тебя, видно, молодой еще – не лает?.. Забился под лавку и лежит, как зарезанный.

Отец отвечал:

– И то – не лает, дьявол! Надо мещанам продать.

Прикидывая так и эдак, как бы насолить насмешникам, я решил выпить всю водку, какая была в доме. Как только все вышли из хаты, я пробрался в чулан, затворился на щеколду и стал пить.

– Черта два, чем будет опохмелиться им, – посмеивался я. – Пускай их!.. Выпью все – и ладно дело!..

Перед вечером меня долго искали и, наконец, почерневшего, стащили с печки. Сначала подумали, что я угорел, но по запаху узнали, что я – пьян. Обливали холодной водой и щеколтали до рвоты, а секли на третий день, когда я оправился.

Придавило в поле возом дядю моего, Ивана Иваныча Горохова, Тимошкина отца. Он поохал дня четыре, покатался по полу, хватаясь за живот, а на пятый – взял и умер среди ночи. В первый раз тогда я увидел попа на похоронах. Вероятно, я и раньше бывал в церкви, но я этого не помню.

В избе было много народа, и нас, ребят, послали на печь.

– Оттуда, – говорят, – вам виднее будет: лезьте-ка на Сионские горы, не мешайте здесь.

Со страхом смотрели мы, как поп, махая кадиллом, сердито что-то говорит, а дьячок жметя в угол, косит глаза на баб и нараспев ему поддакивает. Под конец и поп и дьячок закричали вместе, поп стал отмахиваться от мужиков лампадкой, а Тимошкина мать упала на пол и задрыгала ногами.

– Богу это они молятся, чтоб батя в рай попал, – говорил мне Тимошка. – А матери не хочется: скотину, говорит, некому убирать. Гляди-ка, у попа волосья-то – как у бабы!

Потом дядю унесли на улицу, а дома остались моя мать, стряпуха и работник.

– Вы есть, поди, ребята, захотели? – спросила стряпуха. – Помяните вот раба божьего Ивана Иваныча, – и подала нам на печь масленых блинов и чашку кутьи.

– Вот это важно! – пришел в восторг Тимошка. – Спасибо, Вань, бате, что умер, а то где бы нам кутьицы похлевать, как ты думаешь?

Я уже набил полный рот и в знак согласия мотнул лишь головою.

Стряпуха поглядела на нас и ответила:

– Ах ты, дурак! Какие ты слова сказал? А кто кормить тебя без отца будет, а?

– Фи-и, – засмеялся Тимошка, – сам буду есть!.. – И лукаво подтолкнул меня, шепча: – Нашла чем застращать!..

## II

Про род наш говорили так.

Лет сотню назад пришла в помещичью усадьбу князей Осташковых-Корытовых неизвестного звания дебелия старуха с молодым сыном Матвеем и записалась к барину в крепость.

– Ты, красавица, не беглая? – спросил её бурмистр. – Как зовут?

– Пиши; Анна, дочь Володимерова, вольная крестьянка... Никуда ни от кого я не бегала...

Это все, что можно было узнать о ней, потому что на другие вопросы прабабушка отвечала уклончиво, ссылаясь на старые годы и плохую память.

Поселившись на вырезанном участке земли, старуха вскорости женила сына, а через год отдала богу душу, объевшись соленой рыбой.

От Матвея пошел наш род Володимеровых – крепкий в хозяйстве, послушный барину и предприимчивый в работе.

На весь край Володимеровы славились лучшими набойщиками; на их постоялом дворе, просторном и дешевом, с теплыми полатями, сытым ужином и хмельной брагой, вечно стояли обозы, тянувшиеся журавлями в Полесье: с хлебом и маслом – туда; лесом, углем и сушеными грибами – оттуда.

В Крымскую кампанию Матвеев сын, мой прадед, Калеканчик, закупив десять пар лошадей, сам отправился в извоз – доставлять провиант для армии, поручив вести дом жене и детям.

– Мешок денег, что привез покойный из Перекопа, – говорил мне не раз отец, – старик насилиу втащил в избу, – во-о!..

После войны дали «волю», отняв землю, политую кровью отцов. Застонали землеробы, получив взамен ее буераки, пески и болота, где можно стоять, сидеть и посвистывать, а работать – нельзя.

С тех пор постепенно стало выветриваться наше хозяйство. Недостаток земли и неурожай сожрали скот и припасенные про черный случай деньги; железная дорога – извоз; обременительные налоги и упадок набойного промысла – силу.

При покойном дедушке, Лаврентии Ивановиче, земли было еще четыре надела и кое-какой скот, но с его смертью петля затянулась туже, отец начал пить, а напиваясь, буянить, выгоняя всех нас из избы; иногда бил посуду и мать.

Еще в начале жизни я помню случай, когда мы позднею осенью ночевали на улице. Падает, бывало, маленькими пушинками снег, ветер свистит и рвет солому с крыш, из избы несется брань или пьяная песня, кругом – жуткая муть, а мы вчетвером спим у дверей, положив головы на порог: мать, Мотя, я и Муха. Мать закутывала меня вместе с собакою в полушубок, кладя на самое удобное место, по одну сторону ложилась сама, а по другую – Мотя. К первым петухам отец засыпал, и тогда мы, затаив дыхание, пробирались в избу. Утром отец вставал раньше всех и уходил на работу.

Никогда за всю мою жизнь не назвал меня отец в трезвом виде ласковым именем, не погладил по голове, не обнял, как другие отцы, и когда я, бывало, видел, как мои товарищи целуют своих отцов, а те с ними играют, мне становилось обидно, больно, потому что я боялся отца, его вечной угрюмости, матерной брани и звериного взгляда из-под густых полуседых бровей.

Раз он послал меня за лошадью, которая паслась сзади сарая.

– На вот оброть, – сказал он, – приведи ступай мерина... Гляди – к чужим не подходи: убьют.

– Еще там что! – воскликнул я. – Чего ж они будут убивать – я стороной!

Поручением я гордился: шутка ли – отец за лошадью послал!.. Доверяет!..

Лошадь наша, Буланый, – старая, со сбитыми плечами и вытертой холкой, с отвислой нижней губой, бельмом на правом глазу, желтыми зубами, смиренная.

Накинув ей на голову оброть, я подумал: «Если я большой, могу и верхом забраться», – и вцепился в гриву.

При помощи ног и зубов кое-как вскарабкался.

Сижую сияющий и думаю:

«То-то отец удивится!.. Сам, спросит, сел? – Конечно, скажу, сам, – кобель, что ли, подсадит? – Молодчина, – похвалит он, – в ночное скоро будешь ездить».

А это – моя заветная мечта.

– Но-о, милоч, шевелился! – дернул я за повод. Лошадь постояла, покрутила головой и фыркнула. Я ее подхлестнул. Лошадь нагнулась, сорвала головку колючки и почесала о колено губы.

– Ты почему меня не слушаешься? – рассердился я и подхлестнул сильнее.

Лошадь затрусил.

– Ты что там полдня копался? – неласково спросил отец. – Не мог поскорее?

– Я, тять, сам сел верхом! – закричал я. – Не веришь? – и я мигом сполз на землю, чтобы снова взобраться на Буланого.

Отец пошел в амбар.

– А ты обожди, – попросил я, – посмотрел бы, как я влезу, я ведь не обманываю.

Он остановился.

– Не подходи близко к мерину, а то еще убьет. Стань в сторонку.

– Ну-ну! Он скорей тебе отдавит ногу, – проворчал отец.

На мое горе я начал волноваться, оттого – слабеть. Несколько раз я вцеплялся за шею, но руки не подчинялись, и я падал.

Отчаяние прокрадывалось в душу:

«Не поверит... Скажет: зря хвалюсь...»

И я с еще большим старанием пыхтел около Буланого.

– Я сейчас... сейчас... – бормотал я, готовый разрыдаться. – Обожди немного, я сейчас!..

Мне вот штаны сильно мешают: я поправлю и вскочу...

Буланому, должно быть, тоже надоело ждать: он обернул голову, пожевал губами – тоже, дескать, строит мужика из себя, чертенок! Потом переступил с ноги на ногу и сделал шаг к сараю.

– Хоть бы ты стоял, не шевелился! – закричал я. – Трудно потерпеть, домовый? – и чуть не выругался матерно.

– Вот и не выходит дело, – подошел отец, – держись, я подсажу.

– Нет, не надо, не надо! – торопливо сказал я и, собрав последок сил, метнулся на шею Буланого. Перебрасывая ногу, я пяткою ударил отца под подбородок.

– Э, сволочь! – воскликнул он, рванув меня за рубашку и сбрасывая на землю, – Пошел к чертовой матери, наездник! – и начал потирать ладонью подбородок.

Я съежился и задрожал, как облитый холодной водою, смотря на отца глазами, полными слез. А он, надевая хомут на Буланого, опять закричал:

– Не тебе я сказал? Уходи, покуда морду не набил!..

Что бы ему так не делать!

### III

Мать имела одиннадцать детей, но в живых осталось только двое: сестра и я – последыш. Маленькою девочкой, четырех-пяти лет, сестра хворала оспой, на лице ее остались шрамы. Росту она высокого, широкоплечая, скуластая, с большим приплюснутым носом, обветренная, молчаливая. Густые темно-русые брови и длинные опущенные ресницы, из-под которых блестят серые глаза, равнодушные и чужие, как у отца; у самого ядрышка на них – легкая желтизна. Губы плотно сжаты, говорит мало, глухо отрубая слова и глядя в сторону; зубы креп-

кие, белые, крупные; длинные волосы мягки, как шелк, и нежны, как паутина. Руки от грубой работы в рубцах и ссадинах; на ногах – лапти.

Помнить хорошо сестру я стал пяти-шести годов, когда ей было за тринадцать. Стояли знаменитые петровки 1892 года, деревня голодала и гибла от холеры. Каждое утро и вечер тянулись вереницы гробов, остро пахнувшие известью и карболовкой. На мысах, у реки, жгли одежду и утварь незнакомые люди с орлами на картузах. Неслись, не смолкая, рыдания осиротевших детей; люди выбились из сил, питаюсь травой, луком и хлебом, смешанным с древесного корою, горьким, как полынь.

Утром однажды я лежал еще в постели. Слышу: мать плачет, упрекая кого-то или жалуясь. Отец сидит, насупив нос, на лавке и молчит: он с похмелья угрюм.

– Что я с ним буду делать, а? – часто повторяет мать.

Сначала я подумал: не обо мне ли речь? – но, вспомнив весь вчерашний день, тотчас же успокоился.

«Либо что случилось, либо мать ругается за пьянство, – решил я. – Толку все равно не будет».

Отец, заметив, что я не сплю, прикрикнул:

– Ты что там, барин, дрыхнешь до обеда, забыл про кнут? – Шаря около себя руками, он добавил: – Я тебя выучу!.. Дворяниться не будешь с этих пор!

Отца я боялся, как огня, и этот окрик отнял у меня всякую возможность двигаться. На счастье заступилась мать.

– Он тебе мешает? – сказала она, возясь с горшками. – И так разогнал всех, мучитель!

Сметая веником с шестка пыль, мать причитала:

– Скоро и меня в гроб вколотишь, руки бы твои отвалились поганые... И бога не боишься, змей!

Я заплакал. Вспомнилась вчерашняя сцена, сестра Мотя, которая теперь где-то пропадает, избитая.

«Может быть, она уж больше не придет никогда», – подумал я и стал плакать громче.

Накануне было вот что.

Запряг отец лошадь и, войдя в избу, сказал матери:

– Давай холсты, я поеду на станцию.

Сестра стирала рубахи, а мать возилась с шерстью.

– Не дам, – сказала она.

– Что ж, не жравши будешь? – спросил отец. – Я куплю муки на них.

Мать молчала.

Отец пошел в амбар, сбил топором замок с ящика и начал выбирать холсты, полотенца и сарафаны, складывая все в мешок и бросая на телегу.

– Мамка! – закричала сестра, посмотрев в окно. – Гляди-ка, он сундук разбил!

Обе с плачем выскочили на улицу и подбежали к амбару. Отец уже добирал последки. Ни просьбы, ни мольбы не помогли. Тогда мать вцепилась обеими руками в мешок и закричала:

– Не дам последнего, злодей!

Отец сказал:

– Брось.

Мать еще крепче вцепилась.

Отец молча ударил ее кулаком по лицу. Она мотнула головой по-лошадиному и опрокинулась на спину. Из рта ее обильно заструилась кровь. Полежав чуть-чуть, она вскочила на колени и поймала отца за руку. Она умоляла пожалеть нас, детишек, и «доброе» не продавать. Протягивая губы, мать пыталась целовать его руку, но отец вырывал ее и снова ударял по голове и по губам... Мать падала навзничь, хваталась за лицо, плакала и опять лезла. Отцу

надоело это: взяв ее за волосы и обмотав их вокруг руки, он приподнял от земли голову ее и бил по правому виску, уху и щеке толстым ореховым кнутовищем. Мать только стонала.

Я помню: отец бил часто лошадь так, когда та не могла везти тяжелый воз, – по уху и скулам, норовя попасть ближе к глазу. Как и в тех случаях, лицо его становилось багровым, глаза мутнели, он трясся.

В это время сестра моя вскочила на телегу, схватила мешок с добром и убежала в избу, бросив его там на печку и прикрыв дерюгой.

В продолжение всей этой сцены я стоял, как прикованный к месту, не в силах вымолвить слова. Потом какой-то ужас охватил меня: я вскрикнул и побежал вдоль деревни, сам не зная куда.

Очутившись на чужом дворе, я лег там в хворост, затаив дыхание. Руки и ноги тряслись, по спине ползли мурашки, а сердце то замирало, то колотилось. Страх был настолько велик, что я даже не плакал.

Вышла пожилая женщина, мать Мишки Немченка, отыскала меня в конуре.

– Ты чего тут забился? Али отец выдрал? Эх вы, озорники!

Ничего не сказал, не нашелся. Поспешно выскочив из хвороста, я с плачем побежал домой.

Мать лежала у телеги одна. Раза два она приподнялась на локте, силясь встать, но тотчас слабела и тыкалась головою в землю.

– Ваня, – увидела она меня, – помоги мне, батюшка, подняться! – Мать вытерла с губ кровь.

Я подскочил к ней, обхватил руками ее шею и, трясясь весь, как лист, затвердил:

– Мамочка, не надо!.. Мамочка, не надо!..

Что не надо, я не знал. Стоял перед ней на коленях и говорил как в бреду:

– Не надо!.. Не надо!..

– Подыми меня, – повторила мать и, освободившись из моих объятий, кое-как встала.

Шатаясь, схватилась за задок телеги, поглядела туда.

– Где же добро? Куда его девали?

– Унесла Матрешка в избу, – сказал я.

– Матрешка унесла?

Мать подошла к амбару и опустилась на приваленный к стене камень. Упершись локтями в колени, склонила на руки голову, сплевывая по временам кровавую слюну.

Отец же, заметив, что мешок пропал, пошел в избу.

– Ты куда его прибрала, стерва? – обратился он к Моте.

– Я, тятя, не знаю, – ответила сестра, всхлипывая и предчувствуя близкую расправу.

– Врешь, холсты здесь!

Отец схватил девчонку за косу.

– Слышишь или нет?

Но с сестрой случилось странное: она вырвалась из его рук, вскочила на лежанку и, загоразивая собою мешок, проговорила твердо:

– Уйди! Не получишь холстов! Пропивай свое, а нашего не трогай!..

Вся она тряслась, глаза горели, а рябое лицо дышало решимостью.

Это было неожиданно и дерзко. Отец в первую минуту даже растерялся. Потом, сурово сдвинув брови, он направился к сестре и схватил ее за подол платья. Но тут случилось невероятное: со всего размаха Мотя ударила его лапотной колодкой по голове. Отец схватился руками за ушибленное место, съежился и раскрыл рот, ожидая нового удара. Обеими руками сестра с еще большею силой опустила колодку на темя отца.

– Вот тебе!

Он вскрикнул, метнувшись в сторону, и зашатался. А Мотя стояла будто в столбняке каком: лицо побелело как полотно, глаза неестественно расширились. Только губы по-прежнему были сжаты и чуть-чуть дрожали.

Опомнившись, отец закричал на нее, матерно ругаясь, замахал руками, затопотал, но подойти боялся. На несчастье сестры с другой стороны печки стояла деревянная лопата, на которой сажают хлеб. Со злорадно заблестевшими глазами отец схватил эту лопату и, подскочив к лежанке, ткнул ею изо всей силы в грудь сестру. Та ахнула, свалившись снопом на пол.

– Ага, сволочь! – заржал он.

Через значительный промежуток времени соседи вырвали бесчувственную Мотю из рук отца. Все тело ее распухло и почернело, как земля; волосы местами были выдраны, образуя на голове плечи, местами спутались в куделю; на них запеклась кровь.

Отец, взяв холсты, поехал на станцию, сестру соседи увели к себе, а мать по-прежнему сидела у амбара. Подняв валявшийся платок, я подал его матери и сел у ног ее.

– Больно тебе, мама? – спросил я.

– Больно, сынок, – ответила она.

Ярко блестело солнце, накаливая сухую, потрескавшуюся серую землю. Пахло гарью, карболовкой, дорожной пылью. Большим вымершим домом стояла деревня, молчаливая, покорная, привычная ко всему.

#### IV

Эту ночь мы не ночевали дома. Знали, что отец приедет пьяный, будет кричать и драться, поэтому, как только пригнали скотину, мать напоила ее, и мы ушли на Новую деревню – к тетке.

Дома не было хлеба, я не ел второй день, но пережитые волнения отбили всякую охоту, так что, когда нам предложили ужинать, мы отказались.

Стемнело. Тетка стала готовить постель на кутнике, мать о чем-то с нею разговаривала, а я дремал. Вдруг задремезжала с большака телега, издали послышалась пьяная песня.

– Кажется, ваш воин едет, – промолвила тетка, заглядывая в окно.

Мать побледнела и проговорила дрожащим голосом:

– Загаси, пожалуйста, огонь.

Мы остались в темноте. Я прижался к матери, обхватив руками ее шею, и заплакал.

– Бедная моя детка, – говорила мать, гладя меня по голове и целуя. – Не плачь!.. Он не найдет нас тут... Ложись в постельку...

Слезы текли у нее по щекам и горячими каплями падали на мою руку, но она сдерживала рыдания, утешая меня.

Колеса загремели под окнами. Можно было разобрать слова любимой песни отца, которую он пел всех чаще:

Собачка, верная служанка,  
Не лает у ворот:  
Заноеет мое сердце,  
Заноеет, загрустит...

Язык его заплетался, телегу трясло, песня, обрываемая на полуслове, выходила несуразной, похожей на икоту.

– Нализалась, собачка! – со злобой бросила тетка, прикрывая окно. – Дуролом непутный!..

А мать все гладила меня по голове, лаская и называя нежными именами. Рука ее дрожала; целуя, она прижималась правым углом губ, потому что левый был рассечен кулаком.

– Усни, мой миленький, – шептала мать, – усни, мой сокол ясный!..

Всхлипывая, я целовал ее несчетно раз, прижимаясь головою к груди. Передо мною снова встала картина, как она лежит беспомощная на земле, а отец бьет ее кнутовищем по лицу... Я весь затрясся от рыданий, крепче обвил ее шею и с безумной болью в душе стал твердить:

– Мапочка!.. Мапочка!..

И мы долго сидели так, тесно прижавшись друг к другу.

Тетка давно уже спала, а нам все не хотелось расставаться. Потом как-то незаметно я уснул на коленях у матери. Чуть-чуть помню, как она перенесла меня на постель и поцеловала, перекрестив.

Ухватившись ручонками за плечи, я спросил:

– Ты тоже со мной ляжешь?

– Да, спи, Христос с тобой, – ответила мать.

И я снова задремал.

Во сне бегал с Мухой по какой-то балке, гоняясь за журавлем. Оступившись, упал вниз, закричал и проснулся. Хотел было заплакать – незнакомая хата, один, темнота, но услышал тихий разговор и притаился.

– Лежи, успеешь, – шептала тетка. – Петухи еще не пели, почто пойдешь ни свет, ни заря?

– Нет, надо идти, – узнал я голос матери, – там, чай, лошадь не распряжена: пить, есть хочет... Пойду... А ты утречком, убравшись, приведи Ванюшку.

– Мама, я с тобой пойду, – отозвался я, приподнимаясь на локте.

– Вот он – сверчок, не спит! – рассмеялась тетка.

– Зачем же, милый? – сказала мать. – Рассветет, тогда с тетей придешь.

Голос – неуверенный: идти одна, должно быть, мать боялась. Мигом я вскочил с постели, отыскал картуз, и мы вышли на улицу.

Было еще темно. Небо казалось чистым и бесконечно глубоким. Светлым бисером на нем рассыпались звезды. Тишину нарушали лишь наши шаги, мягко тонувшие в дорожной пыли, да ночной сторож, бивший в колотушку.

Минут через двадцать приблизились к дому. Навстречу выскочила Муха, радостно визжа и прыгая на грудь.

– Что, разбойница, соскучилась? – спросил я, наклоняясь к ней.

У забора стояла привязанная лошадь. Увидя нас, она заржала и стала бить копытом землю.

Тихонько открыв ворота, мы ввели ее во двор, распрягли, дали корму. Набросившись на свежую траву, лошадь захрустела, быстро передвигая челюстями.

Осмотрели телегу. На дне ее, завернутый в веретье, лежал мешок с мукою в пуд.

– Только всего и привез, пьяница! – грустно проговорила мать.

Пока она снимала и развязывала мешок, я присел на веретье и начал дремать. Куры завозились на насести. Я открыл глаза. Склонившись над мукою, мать торопливо захватывала полные горсти ее, суя себе в рот. Еще сквозь дрему я слышал ее слова: «Не затхлая ли – надо попробовать», – а когда проснулся, увидел, как она жадно жует, все спеша, все стараясь взять больше.

– Мама, что ты делаешь? – спросил я, смотря на нее в недоумении и страхе.

Мать сконфузилась.

– Ты, знать, задремал? – прошептала она, поспешно вытирая губы. – Пойдем в избу.

– Нет, я есть хочу.

Проснулся голод, в животе заньюло и засосало.

– Ничего нету, сынок, – ответила мать. – Пойдем, поспи немножко, а утром я тебе калачик испеку.

Но голод – не тетка, и сдаться я уже не мог.

– Мама, а муку нельзя есть? Ты же ела, дай и мне.

Мать развязала мешок, и я поспешил запустить туда руки.

– Смотри, не рассыпай, – предупредила мать. – За нее деньги платили.

Без привычки есть муку было неудобно: она лезла в горло и нос, захватывая дыхание; образовавшееся во рту тесто прилипало к деснам, вязло в зубах.

– Ты не торопись, понемножку, вот так, – учила мать, беря муку щепотью и кладя себе в рот, – не жуй ее, а соси... Больше соси...

Запели вторые петухи.

– Пойдем в избу, – заторопилась она. – Отец скоро проснется.

Я покорно встал. Мать взяла меня на руки, и я тотчас же уснул, положив голову на плечо ее.

## V

Купленная мука оказалась гнилой, с песком. Хлеб совершенно не выходил: на лопате он был еще ничего, но стоило посадить в печку, и он расплывался безобразным блином.

Правда, год был голодный, хорошей муки нигде нельзя было достать, но такой, кажется, и не видали.

Когда ковригу вытаскивали из печки, верхняя корка вздувалась пузырем, под нею образовывалась измочь, и мякиш превращался в тяжелую, вязкую глину. В другое время такой хлеб собакам стыдно было бросить, а тогда – ели, радовались и хвалили.

Потом опять доели все. Последние десять фунтов муки мать смешала с двойным количеством лебеды, и нам хватило хлеба суток на троих. За день же до петровского разговенья, вечером, мы получили по последнему куску.

– Ну, детки, нынче ешьте, а завтра – зубы на полку: хлебушка больше нет, – сказала мать.

Мотя в это время ходила на поденную к помещику.

Мне дали два ломтя, а отец, мать и сестра получили по одному. Ложась спать, я один съел, а другой спрятал к себе под подушку – на завтра.

«Скоро у нас опять будет драка, – думал я, – отец станет хлеб добывать».

Закрывшись с головою дерюгой, я прикидывал на разные манеры, как бы помочь: попросить бы, что ли, у кого или украсть, а то еще что-нибудь сделать, чтобы отец с матерью завтра обедали, а драться обождали.

Незаметно мысль перешла на сегодняшнее.

«Жалеют меня: два ломтя дали... а сами по одному...»

Засунув руку под подушку, я нашупал хлеб.

«Как только встану, умоюсь – сейчас же и съем».

Вдруг приняло в голову:

– А ну-ка, кто-нибудь вытащит ночью – Мотя или мыши?

Вскочив с постели, я подошел к матери, собиравшейся улечься:

– Мама, дай мне, пожалуйста, замок с ключом.

– На что тебе, детка?

– Нужно, дай.

– Сейчас я поищу.

Покопавшись в углу, мать принесла замок. Я побежал в сени к своему ящику, в котором у меня хранились бабки, осколки чайной посуды, самодельные игрушки, лоскутки цветной бумаги, примерил замок и, тихонько прокравшись к постели, взял оттуда хлеб, чтобы спрятать его.

– Глупенький, его же никто не возьмет, зачем ты затворяешь?

Склонившись надо мною, стояла мать, смотря мне в лицо, и тихо плакала.

В душу прокрался мучительный стыд, но я сделал попытку оправдаться.

– Я боюсь, кабы его ночью кошка не съела, – сказал я, но, вспомнив, что кошку отец еще осенью убил, стал путаться.

– Чужая прибежит и слопает, когда я сплю, – неуверенно, чуть не с мольбою, говорил я. Мать, должно быть, поняла меня.

– Затвори, затвори, – сказала она, – так надежнее.

На другой день, когда я проснулся, все уж были на работе и возвратились поздним вечером усталые, голодные. Мать я увидел далеко за деревней и побежал к ней навстречу. Засмеялся сначала от радости – скучно же целый день одному! – а потом прижался к ее платью и горько заплакал.

– Ты что, миленький, о чем? – спросила она. – Тебя кто-нибудь побил?

Безумно хотелось есть, но я постыдился сказать ей об этом и, всхлипывая, проговорил:

– Да, меня ребяташки обижают – не принимают играть.

– За что же они, голубчик? Ну, погоди: я им ужю накладу, озорникам!.. Не плачь, на вот гостинчик. Бабушка Полевая прислала.

Развернув тряпицу, мать подала мне кусочек запыленного хлеба.

– На вот, ешь.

С непередаваемым наслаждением съел я эту корочку и на душе сразу повеселело.

Я шел, уже посмеиваясь, а когда увидел Мишку Немченка, стал поддразнивать его:

– Михаль! Мне мама принесла гостинец, а у тебя нету.

– Ну-ка какой? – подскочил он ко мне.

– Не покажу, – заважничал я, – Бабушка Полевая прислала: хороший, хоро-о-оший!..

Мотя пришла всех позднее, когда я лежал уже в постели. Она молча сняла зипун, разула лапти, выбила пыль из них и развесила онучи по веревке.

– Матреша, – не утерпел я, – мать мне гостинец принесла.

– Какой? – равнодушно спросила она.

– Ого! Ты больно любопытна! А если не скажу?

– Не скажешь – не надо.

Она зачерпнула воды из кадки и стала умываться, потом долго, усердно молилась богу.

– Будет тебе, монашка, – сказал я, – в святые, что ли, метишь?

– В слепые!

– Ты нынче что-то сердитая, бил, видно, кто, или – так? – высунул я голову.

Мотя отвернулась.

На дворе стемнело. Лаяла где-то собака. Скрипели ворота. Прохор, сосед, кричал работнику, чтоб взял из сарая клещи. Под кроватью щелкала зубами Муха, выкусывая блох. Отец шаркал босыми ногами по полу, натываясь то на ведро, то на лохань.

– Ты нынче обедал? – спросила сестра, ложась.

– Нет, а ты?

– Я обедала.

– Счастливая какая, где?

– Мало ль где, – ответила она.

Пошарив рукою под изголовьем, Мотя проговорила, поднося что-то к моему лицу:

– Съешь-ка вот.

– Что это?

– А ты ешь, не расспрашивай, коли дают.

Она держала тот самый ломтик хлеба, что получила накануне. С одного угла он был обломан.

– Это – твой вчерашний? Как же...

– Фи-и, – засмеялась сестра, – тот я еще утром съела!..

– А этот?  
– А этот мне девки дали... Целый ломтище!.. Ела-ела, некуда больше, я и принесла тебе.  
– А не брешешь?  
– Жри, сволочь, что пристал? – закричала с злобой, сестра, тряся меня за локоть...  
– Сама ты сволочь, – сказал я и принялся за хлеб. Мотя отвернулась, кутаясь в дерюгу, но через минуту, приподняв голову, спросила:  
– Засох небось?  
– Хлеб-то? Ничего: есть можно.  
Она ошупью собирала крошки и клала к себе в рот.  
– Тебе дать немного? – спросил я.  
– Сам-то ешь, я ведь обедала.  
– Чего там – на кусочек! – и я отломил ей чуть-чуть.  
Мотя отнекивалась, потом взяла хлеб, отщипывая помаленьку и сося, как леденец, а я, дожевав остаток, уткнулся в подушку и захрапел.

## VI

На преображение Буланый наелся на гумне ржи из вороха, раздулся, как бочонок, и сто-  
нал, лежа в углу, на соломе, а через сутки издох.

Мать вопила в голос, когда с него Перфишка сдирал кожу, а отец молчал как истукан.

– Недогляд – это дело не важное, – бормотал Перфишка, обчищая ноги. – Глядите-ка! – и воткнул большой ржавый нож в живот Буланому.

– Что ты, живодер, надругаешься! – сказала мать со слезами. – Он кормил нас девять лет, а ты его ножом.

– Я пары выпускаю, – ответил мужичонка. – У него пары скопились ото ржи.

В животе Буланого заурчало, и со свистом и шипением начали выходить пары.

– Ишь, как валит! – восхищенно говорил Перфишка, обминая драные бока, – как из трубы! Рожь у него теперь в кутью распарилась.

Облупивши мерина, кожу бросили в одну сторону, а дохлятину – в другую. Я поглядел на желтые зубы Буланого, на его выпавшие глаза, отрезанные уши, распоротый живот и заплакал.

– Теперь его куда-нибудь подальше от деревни, – сказал Перфишка, – чтобы не воняло.

Отец взял у соседа лошадь и, привязав Буланого веревкою за шею, стащил за огороды в ров.

– Лежи тут, голубок, – сказал он, глядя на мерина, – Лежи... – Вздохнул, надвинул на глаза шапку, помялся и пошел домой. Обернувшись, спросил: – А ты что же не идешь?

Хотел еще что-то сказать, но только покашлял, отвернувшись.

Я крикнул ему вслед:

– Я буду караулить, чтоб не слопали собаки!

И я сидел до самого обеда.

Пришел Тимошка поглядеть.

– Издох ваш мерин!

– Да, издох.

– Теперь вас будут звать безлошадниками, нищетой несчастной.

– И вы нас не богаче, – сказал я.

– Богаче – не богаче, а у нас все-таки матка с жеребенком.

– Может, бог даст, и у вас матка издохнет, тогда и вы будете нищетой.

– Чтоб у тебя язык отсох, у паскуды! – сказал Тимошка, сплевывая. – Чур нас! чур нас! чур нас! Чтоб у тебя отец издох за эти слова! – добавил он.

Я тоже сплюнул три раза и ответил:

– А у тебя мать.

За ужином отец сказал:

– Без лошади не жизнь, а дрянь одна, – и продал наутро теленка, корову и овец.

За эти деньги он купил в Устрялове Карюшку, низенькую черную лошадепочку с тонкими ногами, тонкой шеей и белой звездочкой на лбу.

– Теперь, Иванец, у нас новая лошадь, – сказал он, отворяя во двор двери, – погляди-ка.

Целую неделю, каждое утро, я бегал в закуту кормить ее хлебом.

– Машка! Карюшка! – кричал я. – Папы хочешь?

Лошадь весело ржала и подходила ко мне, протягивая морду. Я гладил ее по бокам и, давая хлеб, говорил:

– Ешь, да только не издохни, чумовая!

Отец однажды услышал мои слова и рассердился:

– Еще накаркаешь, чертенок! Не говори больше так! – и, как Тимошка, три раза сплюнул. – Господи Сусе-Христе, чур нас! чур нас! чур нас!

И я перекрестился на колоду и сказал:

– Господи Сусе-Христе, чур нас! чур нас! чур нас!

Про Карюшку люди говорили:

– Лошаденка – ничего... Мелковата будто, слаба, но цены стоит, поработает годок-два.

Но, приехав с поля, отец сказал раз матери:

– Пропали денежки: кобыла с норовом.

Лицо его было мрачно, и говорил он сквозь зубы.

Мать побледнела.

– Неужто с норовом?

– Остановилась на горе... упала... Отпрягать пришлось.

– Эх, старик, поторопился ты малость. Приглядеться бы надо получше!

– Что ты понимаешь? – ответил отец. – Пригляде-еть-ся! Когда? Рабочая пора-то или нет? Языком болтать любишь, баба!

Перевозив с грехом пополам овсяные снопы, отец поехал сеять озимь и меня с собою взял.

– Картошки будешь печь мне, – говорил он.

Я в поле ехал первый раз, и радости моей не было конца. Мигом собравшись, я уселся на телегу, когда лошадь еще не запрягли. Вышедший отец засмеялся.

– Рановато, парень, сел, – сказал он, – семян надо прежде насыпать.

Положив мешки с рожью и укутав их веретьем, сверху бросив соху с бороной, лукошко, хребтуг, в задок – сено и хлеб, отец сказал:

– Теперь лезь.

– А Муху возьмем? – спросил я. – Ишь как ластится, непутная.

– Муха пускай дома остается, – ответил отец.

В поле я собирал лошадиный навоз и пек в золе картошки, ездил верхом на водопой, приносил отцу уголек закурить, ловил кузнечиков и все время думал, что я теперь не маленький.

Встречая у колодца товарищей, я снимал, как большие, картуз и здоровался:

– Бог помочь! Много еще пашни-то?

Мне серьезно отвечали:

– Много...

Или:

– Добьем на днях: осминник навозный остался... жарища-то!..

Не умываясь по утрам, я хотел быть похожим на отца: запыленным, с грязными руками и шеей. Бегая по пашне, выбирал нарочно такое место, где бы в лапти мои набилось больше земли и, переобуваясь вечером, говорил отцу, выколачивая пыль о колесо:

– Эко землищи-то набилось – чисто смерть!

Отец говорил:

– Червя нынче много в пашне, дождей недостает: плохой, знать, урожай будет на лето.

Я поддакивал:

– Да, это плохо, если червь... С восхода нынче засинелось было, да ветер, дьявол, разогнал.

– Не ругай так ветер – грех, – говорил отец.

Ложась спать, я широко зевал, по-отцовски чесал спину и бока, заглядывал в кормушку – есть ли корм, и говорил:

– Не проспять бы завтра... Пашни – непочатый край... – И опять зевал, насильно раскрывая рот и кривя губы. – О-охо-хо-хо!.. Спину что-то ломит – знать, к дождю.

Отец разминал ногами землю у телеги, бросал свиту, а в голову – хомут или мешок, и говорил:

– Ну, ложись, карапуз.

Трепля по волосам, смеялся:

– Вот и ты теперь мужик – на поле выехал.

Я ежился от удовольствия и отвечал:

– Не все же бегать за девчонками да щупать чужих кур – теперь я уж большой.

Отец смеялся пуше.

– Не совсем еще большой, который тебе год?

– Я, брат, не знаю – либо пятый, либо одиннадцатый.

– Мы сейчас сосчитаем, обожди, – говорил отец. – Ты родился под крещение... раз, два, три... Оксютка Мирохина умерла, тебе три года было – это я очень хорошо помню: мы тогда колодец новый рыли... Пять, шесть... Семь лет будет зимой, – ого! Женить тебя скоро, помощник!

– Немного рано: не пойдет никто!

– Мы подождем годок.

Отец вертел цыгарку и курил, а я, закрывшись полушубком, думал, – какую девку взять замуж.

– Тять, – говорил я, – а Чикалевы не дадут, знать, Стешку за меня, а? Они, сволочи, – богатые.

– Можно другую, – отвечал отец улыбаясь. – Любатову Марфушку хочешь? Девка пышная!

– Что ты выдумал? Ее уж сватают большие парни!

– Ну, спи, – говорил отец, – а то умаялся я за день, надо отдохнуть.

Пашня наша подвигалась, но Карюшка с каждым днем худела. Бока ее осунулись, кожа присохла к ребрам, над глазами появились две большие ямы, а шея стала еще тоньше. Когда наступал обед и отец подводил лошадь к телеге, она, всунув голову в задок, где привязан был хребтук с овсом, жадно хватала зерно и, набрав полный рот, замирала. Раздувались красные ноздри, шея и ноги тряслись, на водопой шла спотыкаясь.

– Что, Карюшк, замучилась? – спрашивал я, давая ей хлеба.

Лошадь наклоняла голову и терлась о мое лицо.

– Трудно тебе, девка, – говорил я, глядя ее гриву.

Она клала морду на плечо и шевелила мягкими губами.

– Трудно, трудно, – повторял я. – Хочешь огурцов?

Лошадь отказывалась, крутя головой и вздыхая.

Подходил отец.

– Что, разговариваете? – спрашивал он и, трепля Карюшку по спине, говорил ей: – Дотяни как-нибудь до конца, а зимой отдохнешь, матушка... Постарайся!..

Дня через четыре мы переехали на прогон. Пашня там была труднее: стада овец и коров утрамбовали землю так, что соха еле брала. К позднему завтраку сломали сошник.

– Ах, черт бы тебя взял! – воскликнул отец и стал бить лошадь кнутовищем.

Та заметалась, бессильная, и, споткнувшись на обжуху, переломила ее.

– погоди, я тебе задам горячих, – сказал отец, – ишь ты – падать! – и бил ее сильнее.

Пока приехали домой, да пока справляли новую соху, прошел день.

– Ну, как – не видал Полевую Бабушку? – спрашивала мать.

– Только мне и дело, что Бабушку смотреть, – ответил я, – я, чай, работал, слава богу.

– Ах ты, мужик мой милый, – засмеялась она и дала мне вареное яичко. – На-ка, съешь.

А сидевшая на лавке Мотя дернула презрительно губою и сказала:

– Тоже пахарь, коровья пришлепка!..

– Это дело, – сказал я, беря яйцо и не обращая внимания на сестру, – в поле только хлеб да печеные картохи.

– Молочка не хочешь ли? – опросила мать. – Тетуня принесла.

– Как не хочу! – воскликнул я. – Давай и молоко: все давай, что есть.

Потом я сел посередь избы разуваться, так, чтобы видели все.

– Смотри-ка, мать, землищи-то сколько в лаптях, – говорил я, хмурия брови, – Пыль эта совсем меня замучила!

Мать втихомолку смеялась, а сестра поддразнивала:

– Весь день под телегой пролежал, поди, а тоже хвастается, овечий выродок!

Я ей ответил на это:

– Хорошо тебе, сидя на печке, болтать языком, а съездила бы раза три на водопой да посбирала бы котяшья, так узнала бы, как на пашню ездят, тумба!

И я победоносно взглянул на сестру, потом, усевшись в передний угол, стал крутить цыгарку из мха.

– Покурить, – говорю, – что-то захотелось.

Мать мне на это ответила:

– Как бы я тебе, друг, губы не обтрепала! Ишь ты выдумал чего!

– А как же ты отцу ничего не говоришь? – спросил я, отодвигаясь на всякий случай подальше. – Дрейфишь, старая? Он бы тебе всыпал!

Мать не нашлась, что сказать.

Утром следующего дня Мотя принесла нам в поле завтрак.

– Приказчик был с нарядом, – сказала она. – Беспременно, чтобы нынче выезжать, а то – штраф большой.

Отец бросил ниву и поехал сеять барскую землю.

Зимой, в бескормицу, Осташков дал соломы мужикам, которая была ему не нужна, с тем, чтобы они обработали летом по две десятины земли на двор.

На нашу долю достался пай у оврага. Земля там волнистая, крутая, заросшая пыреем и диким клевером. К вечеру пошел небольшой дождь, разрыхлил почву. Отец радовался:

– Слава богу, как-нибудь осилим... Ишь, соха-то – как по маслу прет.

Поужинав, мы улеглись под телегой, стреножив лошадь на отаве. Ночью меня разбудил крик и матерная брань. Отбросив полушубок, я прислушался.

– Домой, что ли, приехал, с... е.? – кричал чужой мужик. – Я тебе покажу, как баловаться!

Послышались удары кнута по спине и странный голос отца:

– Что ж вы делаете, Гордей Кузьмич?.. Я на минутку!..

Отец будто лаял, когда говорил, или будто кто держал его за глотку.

Началась возня, удары участились и были глухими, словно выбивали пуховую подушку.

– За что-о вы, господи-и! – кричал отец. – Трава-то так же пропадает!

А чужой мужик, которого отец величал Гордеем Кузьмичом, сердито спрашивал:

– Где оброть? Давай сюда скорей!

– Где ж ее взять? Теперь темно, – отвечал отец.

– Неси, подлец, всю морду разобью! – орал Гордей Кузьмич, и снова по траве или спине хлопал кнут.

Отец подошел к задку телеги, пошарил там руками и нагнулся к хомуту. Рядом с ним стоял высокий человек с ружьем через плечо, держа в поводу оседланную лошадь. Лошадь била копытом землю и жевала удила, отчего они хрустели, а помещичий объездчик, обрусевший черкес, ругался матерно, сопел и чванился.

– Натё, – сказал отец, подавая оброть.

Чужой мужик, Гордей Кузьмич, отъехал, и вскоре с луга донеслось:

– Стой, дохлая стерва! Вся в хозяина – упрямая!..

В воздухе свистнул арапник.

Потом затопало четыре пары ног, зашумел лозняк на дне оврага, и затихло.

Я дрожал, притаившись.

Отец, подойдя к телеге, упал на землю около заднего колеса и, вцепившись в обод пальцами, стал трясти телегу, стучаясь головою о спицы. После заплакал, как маленький:

– Батюшки мои! Родимые! Голубчики милые!.. Ох! ох! ох!.. Смертушка приходит!.. – И закатился, раскинув руки и уткнувшись лицом в сырую землю.

Утром, чуть свет, когда я спал еще, он побежал на барский двор выпрашивать загнанную с княжеской отавы лошадь. Возвратился через час, осунувшийся, серый, усталый. Молча сел на втулку колеса, схватился обеими руками за волосы и завопил:

– Где я возьму трешницу? За что-о? – и покрутил головою не то икая, не то кашляя, не то стараясь удержать рыдания. Под левым глазом у него синяк, в пятак величиною, на ухе – ссадина.

Перед завтраком опять пошел в имение и возвратился только вечером. Я же, сидя на телеге, ждал его.

– А где же отец твой, эй ты, барин! – спрашивали проезжавшие мимо мужики.

– Я не знаю, – отвечал я.

– Вот так штука! – хохотали они. – Его, видно, цыган ночью украл?

Когда выросла в четыре шага тень от сохи и перестали кусаться мухи, захотелось есть. Встав на телегу, я осмотрелся и закричал:

– Тятя-а-а! Иди домой: е-е-сть хочу-у! – закричал я со слезами.

На пригорке, в полуверсте, между кущами деревьев, золотились на ярком солнце соломенные крыши служб, над ними – церковь с бледно-голубым, под цвет неба, куполом и рыжим восьмиконечным крестом; красные крыши молочни, кузницы и конского завода – словно яркие платки деревенских модниц, развешанные на кустах. Между серыми полосами теса белели каменные столбы – наугольники амбаров с хлебом и зерносушилки; дальше – пруд и около – высокий старый лес, откуда выглядывал двухэтажный барский дом с десятком лучистых окон. По другую сторону, совсем вдали, за синим маревом – Захаровна, рядом – Свирепино. Между деревнями и имением ровная, буро-желтая полоса овсяного жнивья, ряды посеребривших копен и два оврага; направо – пашня с рубежами, по которой ползали в сохах мухи-лошади, а налево – бугристый берег Неручи, изрезанный морщинами, с каймою чапыжника, лозы и дягиля у воды. В лощине, между нашими полями и помещичьим имением, лежало Осташково, не видное отселе. Между ним и деревней, описав кривую, текла Неручь.

Вдали послышалась песня. Она становилась слышнее, и вскоре застучали колеса в логу. Подъехавший с боронами молодой парень спросил меня:

– Чего ты плачешь, мальчуган?

– Есть хочу, – ответил я.

– Эх ты, пахарь! – сказал он. – А где же отец?

– Пошел к барину за лошадю.

Он подошел к телеге, пошарил в веретье и сказал, доставая мешок:

– Вон он – хлеб: жуй. Вот огурцы соленые.

Солнце зашло, побагровело небо, земля и жнива посерели. Припелся понурый отец.

– Ты ел? – спросил он.

– Ел.

Достав хлеб, отец отломил маленькую корочку, с неохотой пожевал ее, запивая теплым квасом, потом сказал:

– Пойдем домой.

– А лошадь как же? – спросил я.

Он промолчал.

Думая, что он не расслышал, я переспросил. Отец топнул ногой, закричал, замахал руками, матерно ругаясь, и схватил меня за шиворот.

– Какое тебе дело, – тряс он меня, как котенка. – Чтоб тебя черт задавил!

Дышать было трудно; я крутил головою, упирался руками отцу в живот и визжал.

Он толкнул меня в спину ладонью, я упал, заорав во всю глотку:

– Ой, спину повредил! Ой, что-то колет!..

– Перестань! – цыкнул отец.

Я вытер глаза и сказал:

– Теперь я больше не поеду с тобой на пашню: ты дерешься.

– Нужен ты, как пятая нога собаке! – проворчал отец.

– Вырасту большой – отделюсь от тебя.

– Замолчи!

– Что ли, я Карюшку-то увел?.. Ты бы этак по спине объездчика хватил...

Отец взялся за голову.

– Замолчи, Христа ради, сатана!.. Замолчи!..

Мать дома плакала, когда мы поздним вечером вернулись: она знала о несчастье.

На второй и третий день Гордей Кузьмич Карюшки не отдал. На четвертый мать побежала упрашивать его сиятельство, но около дома ее укусила легавая помещичья собака, и мать воротилась в слезах. Пообедав, отец сам пошел – второй раз за этот день.

– Что хотите, то и делайте со мною, – сказал он в экономии. – У меня пропадает год. – И сея на землю у крыльца.

Осташков, князь, назвал его мерзавцем, хамом, свиньей.

– За такие вещи вас, разбойников, в конюшне драть! – покраснел он и затопал ногами. – Что-о?

Отец молчал.

– Избаловались!.. Что-о?..

– Я ничего.

– Как ты смеешь разговаривать?..

– Пожалейте, бога для.

Узнав, что отец пахал его землю, помещик смилостивился, распорядившись отдать лошадь без денег, но с условием, чтобы он обработал полдесятины лишних. Отец поклонился ему в ноги и приехал домой веселый. Голодная лошадь набросилась во дворе на старую солому.

– Дай мне хлеба поскорее, я пойду допахивать! – сказал он матери. – И так почти неделя лопнула.

– Три рубля, говорит, а где я их возьму – давиться, что ли? – бормотал отец, завязывая у окна мешок. – Три рубля – штука немалая! Ихний брат эти три рубля, может, в три дня заработает, а нам надо полмесяца, да и то – негде... Три целковых, – хорош Лазарь?

Обернувшись ко мне, он спросил:

– Поедешь или нет?

– Поеду, – сказал я. – Я теперь на тебя не сержусь.

– Вот и молодчина, – засмеялся отец. – И я не сержусь на тебя.

– Я, тять, и делиться не буду: я только пострадать хотел, ей-богу! – тараторил я, отыскивая лапти.

– Хорошо, хорошо, об этом мы дорогою поговорим... Там просторнее...

Он посадил меня верхом на Карюшку, сунув в руки мешок с хлебом, а сам пошел сзади.

– Ну, трогай, белоногий, – сказал он, хлопая лошадь по крестцам ладонью.

Ночью пошел дождь. Карюшку привязали за крючья, а сами легли под телегу, набросав сверху мешков из-под зерна и веретье. К полуночи зашумел ветер, дождь перешел в ливень, под нас ручьями подтекала вода; я промок, переязб и просился домой, а отец сначала уговаривал тихонько, а потом прикрикнул. Дождь шел до самого рассвета, днем солнце не выглянуло, и пашня стала тяжелой, вязкой, липкой, для лошади – непосильной. Не успели вспахать и пол-осминника, а она была уже в мыле и тряслась. Отец ввил проволоку в кнут, а на конец его приделал гвоздь. Когда он стегал этим кнутом лошадь, она ежилась, сжималась, шатаясь, в комок и раскрывала рот. Правый пах ее, ляшка и бок покрылись волдырями и рубцами в большой палец толщиной, из которых текла кровь. К обеду лошадь стала: она даже и дрожать не могла, когда ее били. Отец был мрачен и зол, на глазах его блестели слезы, а я, прячась за телегу, навзрыд плакал, глядя на Карюшку.

В этот день мы отдыхали больше, чем следует. Запрягли лошадь снова только перед вечером, когда солнце стояло на три дуба от заката. Оправив вожжи и привязав их к рогачам, отец взял в руки страшный кнут. Карюшка, увидя его, нелепо подобрала зад, согнувшись, как хилый ребенок, и пошла боком, следя за отцом. Она сбивалась с борозды и отец то и дело кричал:

– Ближе!.. Вылезь!.. Ближе!.. Тпррру-у!..

Борозда выходила кривой, с «селезнями». Чем больше отец бил Карюшку, тем она больше кособочилась и тем хуже была пашня. Тогда отец сбил с шеловочного гвоздя шляпку и всадил этот гвоздь в обжу – там, где лошадь терлась левой ляшкой. Взмахнув кнутом, он крикнул:

– Н-но!

Карюшка дернула соху, заглядывая по обыкновению на правую руку отца и прижимаясь левым боком к обже. Гвоздь глубоко царапнул по ляжке. Она вздрогнула, метнулась и заржала, таща рысью соху. Отец, цепляясь за рогачи, не отставал. Через двадцать шагов силы убыли, ход замедлился, лошадь вывернула ноздри. Отец подстегнул. Кобыленка опять вильнула задом, и опять ей впился в ляшку гвоздь; опять брызнула кровь, и опять на теле появилась кровавая борозда. Лошадь опять засемила ногами, хрипя и фыркая...

Через три с половиною дня барскую пашню окончили, а еще через три – свою. Лошадь ходила теперь прямо, но на левой ляшке у нее образовалась полоса, ладони в полторы шириною и ладони в две длиною красного ободранного мяса, из которого сочилась кровь, стекая по ноге на землю, и на которое садились тучами зеленовато-черные полевые мухи. Правый бок ее разбух от кнута, глаза обметались гноем, из них стала бить слеза, а ходила она раскорячившись.

Пашня кончилась. Пospела конопля. Карюшку выпустили в поле. Там она чуть-чуть оправилась: поджили раны, пропали рубцы, высохли слезы. Отец подкармливал ее ухвостьем и резкой, обильно посыпанной свежей мукою. Работа теперь сосредоточилась у дома: копали картофель, мочили пеньку, обкладывали к зиме сухим навозом.

Утром на Александра Невского отец запряг Карюшку в борону, посадил меня верхом и сказал:

– Поедем на конопляники сгребать суволоку.

Я ездил вдоль полосы, а отец шел следом, приподнимая борону, когда в ней набиралось много суволоки. Железными вилами он складывал ее в кучи. Покончив с работой, сказал:

– Валяй домой и скажи Матрешке, чтоб надела пахотный хомут и дала возовую веревку. Когда я возвратился, отец привязал концы веревки за гужи и, захлестнув петлю суволоку, приказал везти волоком.

– Ну-ка, Машка, трогай! – сказал я.

Лошадь натужилась, но не осилила.

– Вези, чего ты стала? – крикнул я, стегая поводом ее по гриве.

Она выгнула спину, опустив к земле голову, сделала шага четыре и остановилась.

– Подгоняй! – крикнул отец. – Чего разеваешь рот?

Я дергал за повод, подталкивал ногами, лошадь пыжилась, а воз стоял.

– Стегай же, чертова душа! – подскочил отец, толкая меня в спину деревянной рукояткой.

– Н-но! – кричал я. – Н-но! Чего же ты меня не слушаешься? Н-но!..

Лошадь надувалась и хрипела, копыта ее вязли в рыхлой земле, веревка туго натягивалась, но суволока, качаясь из стороны в сторону, шуршала, а с места не двигалась.

Тогда отец, рассвирепевший до последней степени, подскочил к Карюшке и ударил ее с размаху рукояткой по лбу. Лошадь шарахнулась в сторону, выскочив из постромок, и задрожала всем телом.

– Гони! – ревел отец.

Я бил лошадь, отец бил меня, и все мы тряслись.

Схватив обеими руками вилы, отец обернул их рожками вперед и, выпучив глаза, как иступленный, всадил их в спину лошади.

Карюшка заржала, опускаясь на зад, как садится собака, и оскалила зубы. Я кувырком полетел на землю.

– А-а-а!.. – захрипел отец, выдергивая вилы и опускаясь рядом с лошастью.

– Батюшки мои, что я наделал? – сказал он через минуту и схватился за голову.

– Что я наде-елал!.. – повторял он. – Ваньтя, что я наде-елал?.. – и стал рвать на себе волосы. – Старый дурак!

## VII

Осенью, перед Покровом, я сказал матери:

– Все ребята собираются в училище, надо и мне идти.

– Что же, ступай, – ответила она. – Не мал ли ты?

Я ответил:

– Ничего, пойду: есть которые меньше меня.

– Вот тебя там вышколят, – пострашала сестра. – Учитель-то, сказывают, сердитый: как чуть что – так розгами.

– А ты как же хочешь: на то и ученье! Читать, девка, штука не легкая.

В воскресенье, после обедни, сходили на молебен, а утром, чуть свет, к нам в избу прибежали: Мишка Немченюк, Тимоха, Калеван и Мавруша Титова.

– Эй, барии Осташков, еще храпака воздаешь? – загалдели они. – Пора, вставай!

Ребята гладко причесаны, головы намазаны лампадным маслом, под шеей пестрые шарфы. Маврушка в новом платке с красными горошинками, расстегай весь в кружевах, а из-под сибирки выглядывает желтый завес.

– Эге, вы все – ровно к обедне обрядились! Ну-ка, мать, давай и мне вышитую рубаху! – закричал я. – А где же у вас сумки?

– Сумки пока в кармане, книжки дадут, тогда наденем.

Мать смеется:

– Ах вы, отрошники! Что вы побирушками обрядитесь?

– А как же? Чай, все ученики так ходят, – ответил Мишка, произнося с особым ударением слово «ученики».

По пути забежали за Козленковым Захаркой, который учился третью зиму и сидел в «старших».

– Ты, Захар, не давай нас в обиду, – упрасивали мы товарища.

– Ничего, не робейте: кто полезет, вот как кукарекну, только чокнет! – успокаивал он.

Мавра достала из кармана ватрушку с толченым конопляным семенем и, подавая Козленкову, сказала:

– Может, ты плохо, Захар, позавтракал – сомни ее.

Захарка ответил, что позавтракал он хорошо, но ватрушку съест, «чтоб зря не пропадала».

Школа, несмотря на ранний час, была полна и гудела, как улей. Она помещалась в просторной избе, перегородженной на две половины: в одной сидели «старшие» и «другозимцы», а в передней – новички.

В девять часов пришел учитель в поддевке тонкого сукна и светлых калошах, высокий, тонкий, с реденькой русой бородкой кустами и утячьим носом.

– Гляди-ка, чисто барин, – шепнул мне Тимошка, – учитель-то!..

Он поздоровался и скомандовал: на молитву. Ребята повернулись лицом к иконе и запели на разные голоса. Учитель рассадил всех по местам, старшим выдал книги и приказал что-то писать, а сам подошел к нам.

– Что, ребяташки, учиться пришли?

Мы молчали.

– Вы что же не отвечаете, не умеете говорить?

– Умеем, – выручила Маврушка.

– И то слава богу! Учиться, что ли?

– Да! Да! – запищали мы впереводку, как галчата.

Учитель улыбнулся.

– Садитесь пока здесь, – указал он на свободные места. – Я запишу вас.

Из дверей выглядывали знакомые лица товарищей, привыкших уже к школьной обстановке и державшихся свободно: они смеялись, подталкивая друг друга, ободрительно кивали головою: не робей, дескать, тут народ все свой!

– Как тебя звать? – обратился ко мне первому учитель.

– Ваньтя.

– Иван, – поправил он, записывая что-то на бумажку. – А фамилия?

– А фамилия.

Учитель поднял голову:

– Что ты сказал?

– А фамилия.

– Что «а фамилия»?

– Я не знаю.

Учитель потер переносицу, покопал спичкою в ухе, сделал лицо скучным и подсказал:

– Как твое прозвище?

– Жилиный, – ответил Калебан. – А Мишку вот этого Немченком дразнят, Тимоху – Коцы-Моцы, Маврушку – Глиста...

– Эх ты, а сам-то хороший, Калеба Гнилозадый? – пропищала обиженно Маврушка.

Все захохотали.

– Здесь ссориться нельзя, – остановил учитель.

– Парфе-ен Анкудины-ыч! – крикнул из соседней комнаты Козленков: – Это их на улице так, а Иванова фамилья – Володимиров.

Учитель пожурил:

– Что ж ты, братец, а? Иван, мол, Володимиров... Смелее надо...

– Ты бы поглядел, какой он дома вертун, – опять не утерпел Калеван.

– Помалкивай! – прикрикнул на него учитель, а потом, обратившись ко мне, продолжал: –

Ну, Иван Володимиров, как тебя по батюшке?

– Петра.

– Иван Петрович?

– Да.

– Хорошо-с, мать как величают?

– Она уж старая, ее никак не величают.

– Как же так: не величают? Имя-то есть?

– Маланья.

– Так, а братьев?

– Нету, одна Матрешка... Сестра... Она у нас рябая.

– Матрена, что ли?

– Да.

– Добре. Сказывай, сколько тебе лет?

– Семей пошел с Ивана Крестителя.

С такими же вопросами обращался учитель к Тимошке, потом к Мишке, Калевану и Маврушке, и все путались. Маврушке он сказал:

– Ты, девочка, умная, что вздумала учиться. Не лепись, большая польза потом будет.

Она ответила, что в школу ее тятя послал.

– И отец твой молодчина, – сказал Парфен Анкудиныч.

– Меня тоже послал тятя, – похвалился Калеван. – «Осатанел ты, говорит, всем, убирайся, дьявол, с глаз долой в училиш-шу!..» – И, увидав своего приятеля Цыгана, зафыркал: – Егоран! У нас под печкой голубята вылупились! Глаза лопни! Пиш-шат!..

Мишка его дернул за рукав, а Калеван огрызнулся:

– Чего ты щипешься, стервило?

Учитель взял за подбородок Калевана и сказал:

– Нельзя так, выгоню на улицу, понял?

Перед отпуском учитель объявил: Мавра Титова принимается в первое отделение, а мы четверо должны прийти на будущий год, потому что теперь молоды.

– Поешьте дома кашки побольше, – смеялись над нами.

– Ничего, мы за год сильно вырастем, тогда и нас учиться примут, – утешали мы себя дорогой. – Маврушке-то девятый год!..

## VIII

Пришла моя восьмая зима. Мать выпросила, Христа ради, у Тимошкиной матери старый дядин тулуп и сшила мне из него полушубок.

Целый день я пропадал на улице, катаясь на салазках, и возвращался домой с красными, как у гуся, пальцами и закоченевшими ногами. Поспешно разувшись, я хватал круто посоленный ломоть хлеба и лез на печку, рассказывая оттуда, что со мною было за день. Когда руки и ноги в тепле отходили, их ломило. Мать становила на лежанку ведро с водой, бросала туда снег и опускала в воду мои ноги, а руки терла суконкой или чулком.

– Экий бестолковый, – ворчала она, – до каких пор бегаешь, подумай-ка!

Я оправдывался тем, что на улице ноги не зябнут, что им холоднее от печки, и божился не запаздывать.

– Ты всегда так, – упрекала мать, – простудишься, тогда я тебя выпорю.

Любимым местом наших игр была Федина гора – крутой скат к реке, рядом с мельницей. Как только занимался день, ребята поливали на скорую руку ледянки и бежали на гору кататься.

К вечеру сходились парни с девками с гармониями и прозвонками, на катке устраивалось игрище, пелись песни и плясали. Полоумный Базло, скинув валенки, прыгал босиком. Охрем Лобач становился на руках «березою», Дарка Крымская с Гуляевым, солдатом, плясали по-господски, схватив друг друга в охапку, крутясь и топая на месте. Нас большие гнали от себя, потому что, кончив пляску, парни хватили девок за руки и целовали, а мы подглядывали и, придя домой, пробалтывались, кто кого тискает и кто кого целует.

По воскресеньям на горку приходил пьяный Ортюха-сапожник. Стащив у кого-нибудь из-под навеса сани, он набивал их нами доверху и, крича: «Горшки продаю!» – спускал сани вниз, к реке, хохоча, как сумасшедший. Мы визжали от восторга, летя вихрем под гору, а Ортюха кричал:

– Что, шелудивые, нравится?

На зимнего Николу сапожник принес в кармане бабок.

– Ну, на драку! – крикнул он, бросая пару бабок. Человек двенадцать метнулись, навалившись друг на друга кучей. Под градом кулаков, смеха и брани счастливцев хватал бабку, отбиваясь от товарищей, и подбегал к Ортюхе: бабка становилась его собственностью. Разбросав десятка полтора, мужик крикнул:

– Айда на лед!

Там, где вода сбегает с мельничных колес, у «холостой», застыла свежая полоска льда.

Сапожник, бросая на этот лед сразу три пары, сказал:

– Кто из вас смелый, тот достанет.

Тимошка отозвался.

– Я смелый! – и полез за бабками.

– А еще кто смелый? – спросил Ортюха, кидая два пятка.

Я достал два пятка.

Мальчики, которые поменьше, и девочки, стоя в снегу по щиколку у плотины, рядом с Ортюхой, пугливо жались, боясь, чтоб лед не проломился. И мы сперва боялись, но когда в четвертый раз на лед вскочили двое, Тимошка и Матрос, скользя по нем и матерщинничая, страх прошел.

Вывернув из кармана последки, сапожник закричал:

– Кто скорей! На драку!

Человек пять-шесть бросились за бабками. Лед затрещал под ногами, и мы в ужасе схватились друг за друга. Лед выгнулся, осел и лопнул. Первым опустился в воду Клим Хохлатый из Пилатовки, вдовин сынишка.

– Ма-ам-ма!.. Ма-ма-а!.. – крикнул он, хватая за полу Тимошку.

– Ой! – взвизгнул тот, хлопая по голове Хохлатого, и сам опустился под лед.

Из всего того, что дальше было, я помню только свой собственный вопль. Меня будто облили кипятком... Закружилась голова, замаячило в глазах...

Пришел в себя я за день до своих именин, в крещенский сочельник, перед вечером. У моих ног, с чулком в руках, сидела Мотя; с печки, свесив голову, в лицо мне смотрел отец, а в избе от запушенных снегом стекол было сумрачно.

– Мама, – сказал я, – я дома?

Голос у меня – чужой и слабый, вместо слов – тихий стон.

– Поправь ему подушку, – проговорил отец.

Мать, осторожно ступая, подошла к постели, наклонившись над изголовьем. Я улыбнулся. Она радостно вскрикнула, упала на колени, плача, смеясь и целуя мою руку.

– Проснулся? – ласково спросил отец.

– Проснулся, – хотел я сказать, но только пошевелил губами.

Соскочив с печки, отец сел на скамейку около меня и, трепля по волосам, сказал:

– Что ж ты этак, а? Хворать не полагается на праздниках...

Матрос утонул, а Климка умер от простуды; Цыган и Тимоха хворали, как и я. Тимоха оглох на весь век, а Ортюху-сапожника мужики больно били за баловство, и он с тех пор стал кашлять и прихрамывать.

После обедни на праздник меня sprыснули крещенской водой, напоили чаем из сушеной малины и, укутав с ног до головы горячей посконью, положили на лежанку ближе к печке. Отец отнес в залог Перетканову свою новую рубаху со штанами и валенки и купил на эти деньги виноградного вина, связку кренделей и монпасеев.

– Будет тебе, пахарь, валяться-то, – сказал он, подавая гостинцы. – Пятая неделя никак. И, сидя около, рассказывал:

– Иду я, братец ты мой, по деревне, а Стешка Чикалева выскочила за ворота и кричит: «Дядя Петра! дядя Петра! Что, жених мой встал?»

– Вот и брешешь! – смеюсь я. – Не угадал! Стешка – невеста Игнатова, а моя – Маврунька!

– То бишь, Маврушка, – поправляется отец.

Я хлопаю в ладоши и кричу:

– Слава богу, спутался! Слава богу, спутался!

Подошла мать.

– Не надо так на тятю – «брешешь»: грех.

Отец перебивает:

– Не мешай, старуха.

И я говорю:

– Грех – с орех...

– А спасенье – с ложку! – подхватывает отец и, грозя пальцем, продолжает: – Ты меня не проведешь, малец, я все-о понимаю!.. – Собрав лицо в ряд лучистых морщин, он наклоняется ко мне и дразнит: – Кунба твоя невеста, а не Мавра. Вот что, друг любезный!..

– Глаза мои лопни – Мавра, – встал я, чтоб перекреститься, но закружилась голова, и я ткнулся лицом в подушку и застонал.

Перепугавшаяся мать прогнала отца с лежанки, и я заснул.

На Ивана Крестителя отец важно промолвил:

– Иван Петров, поздравляем вас с именинами.

– Зачем? – спросил я.

– Потому как вам пошел восьмой год, значит, получай вот, чтобы целый год веселым быть, – и подал мне губную гармошку.

– Где ты ее взял? – выхватил я у него игрушку.

– Э-э, – подмигнул отец, – еще молод знать, – и засмеялся.

Вечером мы остались вдвоем с Мотею.

– Что, ребятишки на Фединой горе катаются? – спросил я у сестры.

– Воспа, – ответила она.

– Чего ты говоришь?

– Хворают воспой.

– Как я? – спросил я, приподнимаясь.

– Нет, как я, – ответила сестра, – все в шелухе...

Вся Драловка и Заверниха лежали в оспе. Зайдя через неделю к Титовым после того, как я оправился, я увидел на кутнике, в тряпье, Маврушку, рядом с братом, всю в коросте. Глаза ее слиплись, руки завязаны тряпицею назад, рот обметан гнилыми струпьями и перекошен от боли. Девочка сидела, раскачиваясь из стороны в сторону, терлась щеками о плечи, на нее кричали, а она просила водки тоненьким, жалобным голосом. Рядом с нею – Влас, двухгодо-

валый братишка, похожий на тупорылого кутенка, шевелил беспомощно ручонками, смотря на меня одним глазом, из которого текла слеза, а другой глаз слипся и распух. На веке рана, бровь ободрана, из уха ползет грязно-зеленоватый гной.

– Ма-а... – пищит он, раскрывая рот и цепляясь за дерюгу тонкими пальчиками с отросшими грязными ногтями.

Я подошел к Маврушке, спрашиваю:

– Не ходишь в школу-то иль ходишь?

Девочка протянула вперед шею.

– Кто там? – прошептала она.

– Я...

– Кто – Ваньтя?

– Да. Я тоже хворал... утонул было под мельницей.

– Я знаю, – ответила Мавра и, повернув лицо к столу, заныла: – Пое-е-есть!..

Мать ткнула ей в рот кусок хлеба.

– Жуй.

– Вина-а да-а-ай... – заплакала девочка.

Мать толкнула ее в голову, ворча:

– Куражишься, дрянь! Как вот хлясну по губам-то!..

Маврушка заскулила. Глядя на нее, и Влас заплакал.

– Уходи отсюда, выпороток! – крикнула на меня Маврушина мать и принялась, плача в голос, стегать детей лапотной веревкою.

## IX

На трех святителей драловский сотский дядя Левон, Кила-с-Горшок наряжал народ на сходку.

– Эй, вы, слышите? Земский будет! – зычно кричал он, постукивая в раму батогом. – Подати!..

Отец возвратился со сходки поздно вечером, когда я спал. За завтраком поутру был угрюм и ни за что обругал Мотю.

На сретенье Кила-с-Горшок опять стучал под окнами, земский в этот раз приезжал с станovým и что-то там такое говорил, отчего отец пропал весь следующий день.

– Ни с чем, знать? – встретила его мать.

Отец так цыкнул на нее, что я со страху подскочил на лавке. Разговора за весь вечер никакого не было.

Чуть свет отец с сестрой долго копались в сарае, потом свели туда Пеструху – телку. Вслед за ними побежала мать, прикрыв полою самовар, а за матерью – я. Отец прятал за чем-то телку между старновкой и стеной, заваливая сверху и с боков на поставленные ребром жерди соломой. Между жердями темнела дыра, в которой пугливо возилась Пеструха.

– Не задохлась бы, – шептала мать. – Крепки колья-то?

– Крепки, – говорил отец. – Вали сверху овсяную солому.

Мотя таскала вилами солому, мать зарывала в мякину самовар и новые коты, которые лет пять берегла на смерть, а я, стоя с разинутым ртом, дивился.

– Зачем вы, мама, это делаете, а?

– Марш домой! – крикнул отец, грозя веревкой. – Везде, дрянь, поспеваешь? – И, понизив до шепота голос, добавил: – Если кому скажешь, изувечу...

По деревне ездили начальники, выбирая подати, недоимку и продовольственные деньги. Они ходили от двора ко двору, ругались матерно, грозили согнуть в бараний рог, вымотать

душу, а следом плелись старшина со старостой в медалях, понятые и мещане из города на широких розвальнях.

На улицу, прямо на снег, выбрасывали из клетей холсты, одежду, самовары, сбрую – все, что можно продать. Скупал рыжий мещанин в крытом тулупе. Становой величал его Василием Васильичем и угощал желтыми папиросами из легкого табаку. Цену назначал становой, старшина поддакивал, воротя в сторону от мужиков лицо, староста молчал, понятые вздыхали. Василь Васильич, ткнув ногою вещь, сипло отрубал: беру! Работники тащили скупку в сани, а мещанин, отдуваясь, лез за пазуху, вытаскивал холщевый засаленный, в пол-аршина длиною, денежный мешок и отсчитывал красными озябшими пальцами мелочь. Бабы истошно выли, мужики бухались в снег на колени перед полицейским, стучались лбами в глубокие калоши, обметая волосами снег с них, хрипели что-то. Становой благодушно отстранял лежащих, притрагиваясь кончиком шпаги к спине, или кричал то милостиво, то зло.

За добром выводили живность: поросят, коров, птицу. Кур и поросят совали в широкие мешки, овец бросали, скрутив ноги, в сани, а коров и телят привязывали к оглоблям и сзади саней. Куры кудахтали, вырываясь из рук, по улице летели перья; поросята, бабы и дети визжали; коровы угрюмо мычали, разгребая ногами снег и крутя головою... Нашествие татарское на Русь...

Скоро четверо мещанских розвальней нагрузили доверху.

Становой сказал:

– Не закусить ли теперь нам, Василь Васильич, а?

– Пора, – ответил тот.

Возы, нагруженные холстами, обувью и одеждой, утварью и ветошью, отправили с мальчишкой и десятскими в город; начальники, ежась от холода и потирая руки, полезли к старосте в горницу, сотский побежал за водкой, понятой – к попадье за мочеными яблоками.

Пока они в тепле кушали, мужики терпеливо ждали у крыльца. Старостина дочь, Палагуша, и сама старостиха то и дело бегали из погреба в кладовую, из кладовой в избу, торопливо неся миски с огурцами, кислую капусту, хрен, ветчину и кринки молока, а мужики завистливо смотрели им в руки и шептались:

– Эко, братцы, жрать-то охочи!..

– Еще бы... привыкли, чтоб послаще, побольше... господа называются...

Потом, стоя в дверях, начальники курили и отрыгивались, а осташковцы, кто ближе, толпились без шапок.

Напившись чаю с кренделями, опять приступили к описи и распродаже. Отдохнувшие бабы снова завыли; опять пристав кричал и топал ногами, а мужики барахтались в снегу.

Дошла очередь до нас, а у нас продать нечего.

– Беднота несусветная, ваше благородие, – говорит староста, сдергивая шапку. – Ничего у них нету... Один только близир, а не крестьяне, верно говорю!..

Понятые смотрят на отца, который посинел.

– Не робей, Лаврентьев, – тихо говорит отцу Фарносый. – Упади на коленки: нарежьте, мол, а денег ни гроша... Он отходчивый... Покричит-покричит, а посла – помилует... Ну, может быть, ударит раз или два, стерпи...

Главная задача – голод, мол, проели все... Ишь, шубенка-то у тебя, хуже бороны...

Входя уличными дверями в сени, становой стукнулся лбом о притолоку и выругался матерно, поднимая шапку со звездой. Мать со страху схватила метлу и давай разметать у него под ногами сор, причитая:

– Батюшка, начальничек наш милый... в кои-то веки к нам заглянули...

Урядник толкнул ее в плечо.

– Отойди, старуха, не мешай, – сказал он.

– Кланяйся барину в ноги, пень! – подскочила ко мне мать. – Упади перед ним!.. Упади!..

Увидя Муху на соломе, принялась лупить ее метлою.

– Что ты, стерва, притаилась, а? Марш на улицу, одежду господам хочешь порвать, одежду?..

Собака огрызнулась...

– А-а, так ты та-ак?

Мать саданула Муху толстым концом метлы по голове.

– Пошла прочь, паскуда!.. Ишь ты, что надумала! Одежу рвать?.. Чистую одежду рвать? А метлы не хочешь?.. Я тебе порву!.. Ты у меня узнаешь!.. Барыня какая!..

У нее из-под платка выбивались волосы, слабо завязанная онуча на правой ноге сползла, а мать все бегала по сенам, как шальная.

Становой посмотрел, усмехнулся.

– Эко чучело!

И урядник усмехнулся.

Из отворенной полицейскими в избу двери пахнуло теплом. Становой сморщил рожу, сплевывая:

– П-пффа! Какой тут смрад!.. Скоты!.. – и поспешно хлопнул дверью, выходя на улицу.

– Где хозяин?

– Вот мы... вот я... – выступил отец.

– Подати.

– Нету... голод... бьемся... Обождите, богом заклинаю!..

Отец опустил на колени. Подбородок у него трясется, широкоую, с проседью, бороду развевает ветром, на лысине в три пятака хают снежинки...

Стоя на коленях, отец часто и невнятно что-то говорит, царапая пальцами грудь; Мотя, бледная, с красными пятнами по лицу, трясется и хрустит пальцами; мать трясется и плачет, а отец по-собачьи смотрит в глаза уряднику и становому. Я в толпе ребятишек.

– Отец-то твой никак заплакал, – шепчет мне Немченоч.

Мне стыдно за него, я возражаю.

– Это ему ветром в глаза дует, – говорю я горячо. – Он у нас, ты сам знаешь, какой: молотком слезы не вышибешь!.. Не может он плакать...

Но Мишка ладит:

– Плачет, вот те крест! Гляди-ка: за нос все хватается!

Тогда я сам сквозь слезы говорю:

– погоди, и твой заплачет, как черед дойдет... осталось три двора...

– Мы с утра отплакались все разом, – говорит Немченоч. – Отец нас матом, а мы – в голос... Отец говорит: «Надо давиться», – а мать говорит: – «Добрые люди скотинку прячут, где получше, а не давятся...» Отец корову и жеребенка свел в овраг, а большую свинью, говорит, девать некуда и заревел: «Черти, говорит, сожрут ее, а не мы», – а мать говорит: «Бог милостив, Лексеич...»

Наклонившись к уху, Мишка шепчет:

– Отец свинью-то все-таки зарезал... Не паливши, понимаешь, в омет ее... На куски да в омет... Идем, я покажу...

Начальники пошли обыскивать наш двор, а мы с Немченком – за сарай, в ометы.

– Сюда, сюда! В среднем! – кричал Мишка. – С того краю!

Увязая по живот в снегу, он бормотал:

– Сейчас я покажу тебе, где наша поросятинка лежит, сейчас ты, друг, узнаешь.

Но, завернув за угол, Мишка завыл:

– Глянь-ко-ся-а!

Четыре здоровенных собаки, раскопав дыру в соломе, жрали мясо. На снегу атели пятна крови, в стороне крутились белопегий поджарый щенок и три вороны, из соломы торчала обглоданная кость.

– Тятя-а! – взвизгнул Мишка, постояв с минуту. – Тятя!

Несясь вихрем по деревне, так что только развевались из-под шапки льняные волосы, Немченоч что есть силы голосил:

– Собаки, тятя!.. Свинью, тятя!.. Только косточки, тятя!..

Стоявшие у крыльца мужики в недоумении обернулись, а отец Немченка тут же, на снегу, присел.

– Что ты, оглашенный! – цыкнул староста, хватая метлу.

– Собаки... съели! – выпалил Немченоч, растопырив руки.

– Э-э-е... что ты мелешь? – едва сумел промолвить отец Мишкин. – Что ты, бог с тобой?..

Окстись!..

– Ветчину сожрали! – кричал Мишка. – Говорила мать: прячь подальше, – не послушался, – и он заплакал, сморщив по-старушечьи лицо.

– Головушка ты моя горькая! – схватился за волосы Мишкин отец: по бледным щекам его покатались слезы.

Трясаясь, я неожиданно для самого себя завыл, глядя на отца:

– И нашу Пеструху собаки съедят!.. Беги скорей в сарай!..

Начальник круто обернулся.

– Что ты, мальчуган, сказал? – спросил он у Немченка.

Тот вылупил глаза, раскрыв рот, и поперхнулся. Начальник обратился ко мне:

– Что случилось? Чей ты, а?

– Свой, – скороговоркой ответил я, глотая слезы. – У Мишки закололи свинью, а ее собаки слопали в омете, а у нас в старновке телка...

Взглянув на отца, я вспомнил об угрозе и закричал, обливаясь слезами:

– Сейчас он меня увечить будет!.. Нету у нас телки, мы продали!

Мишкин отец, сидя на снегу, качался из стороны в сторону, причитая, мой отец упал становому в ноги, Мотя зарыдала, мужики оцепенели.

С размаху начальник ударил отца кулаком по скуле. Желтая перчатка на руке его лопнула. Отец ткнулся головой в порог и застонал. Зверем бросилась на станового Мотя, вцепившись в рукав. Ее ударили по голове, она свалилась рядом с отцом, но, вскочив, метнулась снова, а ее опять ударили; сестра опять упала. Начальник пнул отца в живот ногою, и он скрючился, скуля, а мать полезла на чердак.

– Караул!.. Душегубство!.. Спасите!.. – кричала она и с четвертой ступеньки шлепнулась на пол.

...Когда начальники уехали, Мишке вывихнули ногу и возили в город поправлять, а я с неделю ходил кровью на двор за Пеструху.

## Х

Я лежал в постели. Мать поила меня грушевым отваром, на живот клали пареную бузину; отец четвертую неделю сидел под арестом за подати.

– Легче? – спрашивала мать.

– Легче, – ответил я, глядя в сторону. – Почему ты за меня не заступалась?

Мать потупилась.

– Я боюсь его, – ответила она.

В промерзлые окна смотрит февральское солнце; льдинки на стеклах горят синими и желтыми огнями, по спущенному концу толстой шерстяной нитки, положенной на подоконник, стекает в черепок вода.

– Когда он перестанет меня мучить? – спросил я, помолчав.

– Не знаю... Когда вырастешь большой... Его ведь тоже били...

– Это не указ. – Приподнявшись на локте, я шепчу, замирая от страха: – Если б умер он...  
Мать смотрит на меня испуганно и тоже шепчет:

– Брось... Отец ведь он тебе!..

Но горечь, что скопилась в сердце, кружит голову, подталкивает: хватая мать за шею, я опять шепчу:

– Мы лучше б жили, верь мне!.. Я пахал бы, Мотя помогала, а ты дома с курами да с разной рухлядью... Я не бил бы вас... Зачем?..

Мать молчит, прижавшись к моему плечу.

– Или вот что: мне уйти куда-нибудь... Подальше, чтоб не знал он.

– Ванечка!..

– Он ведь все равно убьет меня когда-нибудь... Кабы сила, его б надо приколошить... Топором иль чем-нибудь другим... Бацнул, а потом в навоз... А на улице сказали бы: в Полесье уехал на пять лет...

– Он здоровый: ты не сладишь...

– Сонного...

В сенях звякнула щеколда. Кто-то обивал о стенку лапти.

– Кто там? Если он – молчи, не сказывай, что я надумал... Приставать будет – крепись...

Отец пришел из города худой и грязный, влез на печку, не поевши, и уснул. Мы ходили тихо, разговаривая шепотом.

– Вашего-то били там! – прибежала с новостью соседка. – Старик Федин сейчас сказывал.

– Нуко-ся опять! – всплеснула мать руками.

Мотя искривилась, глядя в угол, лицо покраснело, по щекам потекли крупные слезы.

– Их бы надо! – сцепив зубы, прошептала она зло. – За что они?.. Их бы надо!..

– Что ты, девка, обалдела, не проживши веку? – цыкнула соседка. – Без пути и там не быют!..

Оказалось, что в полиции мужиков заставили колоть дрова, но отец наотрез отказался, говоря:

– Положи цену, зря работать не согласен.

Ключник донес приставу, а пристав отца бил.

– Я тебя сгною! – кричал он. – Проси у меня прощенья.

Отец просил.

– То-то... Пойдешь теперь на работу?

– Нет.

Пристав снова бил.

– Становись, разбойник, на коленки!..

Отец становился.

– Я начальник, – размахивал руками пристав. – Как ты смеешь мне перечить?

Отец молчал, склонив голову. Пристав учил отца до обеда, весь измучился, вспотел, а толку не добился никакого. Рассердившись, затворил его на хлеб и воду и надбавил сроку на неделю.

Дома, на печи, отец лежал недели полторы. Он не охал, не стонал и ни на что не жаловался, лежал вверх лицом и глядел в черный, закоптелый потолок или бесперечь курил. Приходили мужики по делу – он молчал, оставаясь вдвоем с матерью – молчал; есть слезал, когда все спали. На четвертый или пятый день у него вышел табак: отец стал курить конопляную мякину вперемешку с полынью.

– Отлежится на печи-то и опять начнет лупить нас чем попало, – шепнул я матери.

Та мельком взглянула на меня и не ответила ни слова.

– И охота же ему курить эту пакость, – продолжал я, сплевывая, – душу всю захватывает... Нету табаку – не надо, подождет бы, когда новый купится.

– Пошел прочь! – рассердилась мать, толкая меня в спину. – Тебя не спросили, что курить!..

На второй неделе отец засвистел на печи, потом громко засмеялся, а мы переглянулись. Отец свистел до обеда.

– Шел бы закусить чего-нибудь, – сказала мать. – Что ж ты все лежишь колодой?

Отец засмеялся, но обедать не пошел.

– Голос подал, значит, встанет, – сказал я сестре.

Шел великий пост. Пригрело солнышко. С крыш текла капель.

В сумерки ударили к вечерне. Потянулся народ в церковь.

– Эх ты, мать честная, отец праведный! – сказал отец, слезая с печки. – Принеси, Матреш, цыбарочку водицы.

Он был черен, как араб, седые спутанные волосы его стали от копоти дымчатыми, веки покраснели и разбухли, в бороде торчали перья.

– Ну, что, как твои дела? – спросил он, щекоча меня под подбородком. – Много бабок выиграл на масленой?

– Слава богу, – сказал я, отодвигаясь.

Отец вымыл лицо, голову, переменял рубаху и причесался. Мать юлила около него, подавая чистую утирку, гребешок и бесперечь советуя:

– За ухом-то вытри, за ухом-то!.. Обожди, я тебе ножницами подравняю волосы. Пстой, Петрей, чуточку!..

Нарядившись, отец сел на коник, поглядел на всех, оперся о стол локтями, склонил голову и снова засвистел, постукивая лаптем о проножку.

– Бросил бы, старик, – сказала мать, – жутко ведь!.. Ну, что же теперь делать? Перестань, пожалуйста!

Отец притворился, что не слышит. Мать уткнулась в угол, скрывая слезы.

– Так-так-так, – сказал он, насвистевшись. – Так-так-та-ак!..

Мать повеселела. Ласково притронувшись к плечу его, она спросила:

– Поговеть не думаешь? Сердокрестная неделя уж...

– Поговеть? – Отец задумался. – Можно поговеть.

Мать обрадовалась пуще.

– Поговей! – воскликнула она. – Вот увидишь, легче станет.

– Мо-ожно, – повторил отец. – Отчего нельзя?

Причесавшись еще раз, он пошел к вечерне, а вернулся к третьим петухам пьянее грязи.

– Малаша! Ваня! Мотечка! Милые мои! Голубяточки! – кричал он с улицы. – Говельщик ваш идет, встречайте...

Стуча зубами, мать металась по избе. Я залез под лавку... Мотя торопливо одевалась...

– Рцы, ерцы, господи помилуй... Слава в вышних богу... Упокой, господи, рабов твоих... – бормотал отец, с трудом переступая избяной порог.

Он был без шапки, бледен, с разорванным воротом новой рубахи. Войдя, ткнул ногою овцу, которая с ягненочком жевала сено у лежанки, осмотрелся мутным взглядом, мотнул головою, засопел.

– Рцы, ерцы, господи помилуй... Еже словом, еже делом... Все живы?

– Живы, – прошептала мать запекшимся ртом.

– Живы? Ну и ладно... Дай поесть... Сушую-рущую, пресвятую богородицу, тебя величаем...

Мать нарезала хлеба, налила похлебки.

– И во веки веков, аминь!.. – Отец дернул за конец столешника, еда полетела на пол. – Жарь яичницу!.. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим...

– Батюшка! Петрей! Желанный мой! – закричала мать. – Окстись, что ты – пост великий, какую тебе яичницу?

– Жарь яичницу, а то окна поломаю! – стукнул отец кулаком о стол.

Мать заплакала, отыскивая сковороду.

– Еже словом, еже делом... – Отец опустил на колени. – Нет... не так... постой! – Он снял с божницы большой медный крест, родительское благословение, трижды перекрестился и поцеловал его.

– Слушай, – сказал он, глядя на крест, – исповедоваться буду... Грехи мои слушай... Двадцать лет не исповедовался, а теперь вот вздумал, на старости годов... Слушай: с восьми лет пью водку, ругаюсь матерно... и до гроба буду пить, понял? С десяти курю табак, с молодых лет бью жену... завидовал богатым... лошадей увечил, слышишь?.. Много в сердце зла имею... Не люблю людей... Кругом меня – злодеи, я – первый... Ну, еще что?.. – Отец притронулся корявым пальцем к распятию, – небось сердисься? Что ж мне делать, если жизнь моя такая... сердись не сердись, а никому не покорюсь!.. Хоть на месте истопчи!.. Хоть по жиле вытащи мою утробу! – заревел отец, бледнея, и, схватив распятие, стал с ожесточением топтать его.

Остолбеневшая мать пронзительно завывала:

– Старичо-ок! Опо-омнись!..

Пошатываясь, отец взял ее за руку, поставил затылком к дверям, размахнулся и хлестнул кулаком по лицу. Мать затылком отворила дверь и растянулась на полу в сенях. Подбежавшую сестру отец поставил носом в сени. Падая от подзатыльника, та поползла раком.

– Иди третий... Эй, наследник, где ты?

Я полез было под печку, но отец вытащил за ногу. Держа на весу, сопел и матюкался, а я ловил его за штанину.

– Лети! – сказал отец, и я шлепнулся на что-то мягкое: не то на мать, не то на Мотю. Отец затворился.

Пил отец шесть дней. С барышником Хрипуном он заездил лошадь, рыская по кабакам. На седьмой пришел в одной рубахе, хворый, желтый, щипаный, лежал долго без движения, ничего не ел, кроме капусты, ни с кем не разговаривал. Оправившись, стал работать.

## XI

Осенью мое желание сбылось: я получил в школе букварь и грифельную доску.

Долгими зимними вечерами, когда за окном трещит мороз, а в избе так тепло и уютно, зажгут наши маленькую лампочку-моргасик, я примощусь к столу и, подобрав под себя ноги, заявляю:

– Ну вы, тише теперь там – читать начинаю.

– Читай, читай, – скажут домашние, – а мы послушаем. Чисто ли на столе-то – книжку кабы не замарал? – и мать прибежит смахнуть пыль рукавом.

– Ничего, чисто, вы не разговаривайте, а то собьете, – и начинаю выводить нараспев: – Ми-ша. Мы-ши. Мы-ло. Ма-ма ши-ла.

– Какое тут шитье, – скажет мать, – у меня и глаза-то ничего не видят...

– Да нешто про тебя это? – крикну я. – Мешаешь только!

– Ну, не буду, не буду, милый!

– Пи-ли-ли. Мы-ли-ли, Шли. Ма-ша тка-ла по-лот-но...

– Это, видно, про Жолудеву Машу – она первая в деревне мастерица ткать холсты...

Я опять закричу:

– Вот ты, мать, какая! Язык-то, словно помело в печи, – туда и сюда... Ведь это в книжке так написано, а ты почнешь набирать, кто знает что!

Все смеются, а я злюсь.

– Не выучу вот урок-то, – обращаюсь я снова к матери, – а тебе, видно, хочется, чтоб меня завтра на коленки Парфен Анкудинович поставил?

– Ох, Ванечка, я и забыла, касатик! Больше не буду, верное слово! Мне все дивно – Маши да Саши разные набираешь, а я думаю: не про нашу ли деревню отпечатали?

– Про вашу, как же!.. Бестолковщина!.. Кузь-ма купил ко-зла...

– Ха-ха-ха! – заливается мать: она у нас всех непонятнее была. – Кузьма купил козла!.. – почесывая за ухом веретеном, говорит в раздумье. – Наточкин Кузя, должно быть, так у нас козлов-то ни у кого нету, разве в городе?.. Старик, – смотрит она на отца, – ты, часом, не знаешь, у кого козлы в городе?..

И так, бывало, каждый вечер.

Однажды, середь зимы, нам задали большой и трудный урок: полстраницы прочитать и рассказать, что в книжке писано.

Я устроился у стола – поближе к огоньку, рядом – сестра вышивает, отец слушает с печки.

– Му-ра-вель и го-луб-ка, – распеваю я. – Му-рав-лю за-хо-тел...

– Ваньть, постой! – свесил голову отец. – Ты, знать, не так читаешь, а?

Я посмотрел на его лысину, которая от лампочки блестела, как коленка, свистнул, еще посмотрел и ответил:

– Ты надумаешь на печи-то. Считай лучше прусаков!

– Верное слово, не так! – пристал отец. – Ну-ка, погляди получше!..

– Ну что ты понимаешь? – закапризничал я. – В училище не ходишь, книжек у тебя нет, доски – тоже нету, а лезешь поправлять, новомодный ученик! Дай тебе грифель – сразу сломаешь, а говоришь: не так! Сказывай, кака буква на жука похожа? «А» по-твоему? Держи карман!

Я даже в азарт вошел.

– Конечно, не так! – сказала вдруг Мотя. – Где ж тут «лы»?

Подвинув ближе к себе книгу, сестра улыбнулась.

– Читай лучше: му-ра-вей, – делает она ударение на последнем слоге.

Я в удивлении смотрю на нее:

– Ты... почему же знаешь?

– Читай как следует – лучше дело будет, – проворчала она, принимаясь за вышивание.

– Ах ты, трепло! – вскипел я, задетый за живое. – Одно слово узнала и уж куражится, ведьма!

– Может быть, еще побольше знаю, – ответила сестра, вставая из-за стола.

Мать прикрикнула:

– Будет тебе хвастаться-то, ягунка! Вот в писаря скоро выйдешь.

Отец, не менее моего пораженный, твердил:

– Ай да Матрешила, ай да Матрешила! Разуважила ученика, ха-ха-ха! Шибко разуважила! Утерла сопли! Вот тебе книжки и грифель – лезь под лавку со стыда!..

Зло меня разобрало.

«Погоди, – думаю, – холера! я тебя подкараулю!..»

Случай представился скоро. В один из праздников, набегавшись вволю и проголодавшись, я вскочил в избу за хлебом. Наступили сумерки.

– Мамка, дай поесть, – закричал я, отворяя двери.

– Какая тебе еда, скоро ужинать, – ответила сестра. Она сидела одна.

– А где же мать?

– Поехала на свинье грушей торговать! Чего орешь, как сумасшедший, – не заблудится.

Сбросив полушубок и разувшись, я полез за стол.

– В карты, что ли, сыграть? – посмотрел я на сестру. – В свои козыри?

Та ответила:

– Играй, коли охота.

Смотрю: в руках у нее книжка. Попалась, барыня! Попалась, слава богу!

– Тебе кто же велел брать без спросу? – говорю ей ласково.

Мотя смутилась.

– Я ее не съела, – проговорила она. Я – поглядеть немного, – Сестра бросила книгу на стол. – Жадничаешь, жила? На – подавись!..

Мне, конечно, не книги было жалко, а обидно, что она меня недавно подкузьмила.

– Стой, за это вашего брата не хвалят – получай-ка вот! – и я треснул ее по голове. – Ты у меня будешь знать, как воруют чужие книжки!

Мотя ничего не сказала. Я ждал, что она тоже чем-нибудь меня ударит, и приготовился к обороне, но сестра отвернулась к стене и так простояла несколько минут.

Стыдно стало как-то: до слез ведь довел, а за что? Не съела ж, в самом деле, книжку?

– Мотя, – проговорил я нерешительно, – брось, я пошутил!.. Давай вместе читать. Тут, знаешь, есть статья про старика и смерть – смешная, будь она неладна! Давай, Мотя!

Сестра повернула ко мне лицо и смущенно улыбнулась.

– Я уже читала ее, – сказала она, – давай другое что-нибудь...

Губы ее вздрагивали, на глазах блестели слезы; сестра старалась незаметно их смахнуть.

Я с готовностью согласился, и Мотя отыскала в конце книги «Последнюю беседу Иисуса Христа со своими учениками», говоря, что она уж начала было читать, да я помешал.

– Ты будешь читать? – спросила она.

– Нет, читай уж ты, а я послушаю... Я до туда не дошел еще...

Сестра начала:

– «Заповедь даю вам новую: да любите друг друга, как я вас возлюбил. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит богу. Вы рассеетесь каждый в свою сторону и меня оставите одного; но я не один, потому что отец мой со мною. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: я победил мир...» Тебе нравится? – восторженно твердила сестра, прерывая минутами чтение. – Слушай! Слушай!..

Читала она, кстати, лучше меня.

– «И находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю...»

– «...и был пот его, как капли крови, падающие на землю», – вновь прошептала Мотя.

В шепоте этом был восторг непередаваемый и ужас.

– Давай помолимся.

И мы молились. Сестра, стоя на коленях, говорила:

– Спаситель! Нам обоим хочется пострадать за тебя так же, как и ты за нас страдал, – Ваньте, брату моему, и мне, Матрене, рабе твоей...

Прижавшись лбом к холодному земляному полу, я повторял за ней самодельную молитву.

– Дай господи, счастья родителям нашим: отцу Петру и матери Маланье...

Я возражал:

– За отца-то не следовало бы: он бьет нас...

Но сестра не слушалась меня, продолжая просить счастья родственникам, и всей деревне, и всем людям...

## ХП

Этот вечер, проведенный в жаркой молитве и чтении, стал началом других вечеров, ему подобных. Как-то так вышло, что у нас с сестрою оказался неисчерпаемый источник душевных слов друг для друга, ласк и внимания, тесно нас сблизивших.

В разговорах мы чаще останавливались на загробной жизни, на радостях праведников в раю и на муках грешных; читали жития святых, евангелие, псалтырь.

Я спросил однажды Мотю:

– Слушай, как ты научилась грамоте – ведь ты же не ходишь в школу?

Сестра улыбнувшись, ответила:

– Я уж и сама не знаю. Смотрела на тебя, как ты учишься, и запоминала... Ты, бывало, водишь пальцем по строчкам, слова разные говоришь – смешно мне, ну а потом – занимательным стало: «Почему так, – думала я, – крючочки и знаки, а через них – разные слова?» Втихомолку стала присматриваться, где какое слово писано и как ты его выкрикиваешь, а после, без тебя, разгляжу его, бывало, получше... Я скоро это поняла.

Однажды Мотя принесла с базара «Страшный суд». Наверху, с левой стороны, нарисован был желтый домик, похожий на перепелиную клетку, в решетчатых воротах святой с плешью, в белом венчике, в руках у святого – два ключа. Человек пять-шесть монахов и царей, опустив глаза и склонив головы, ждали очереди.

– Это рай, – сказала Мотя. – Если бы нам с тобой пришлось пострадать за веру, мы тоже бы там были.

Но как пострадать, мы не знали, и это являлось причиною наших немалых слез и молитв.

Внизу картины в разной посуде мучились поджариваемые грешники. Хвостатые и черные, как уголь, черти с пламенем во рту и козлиными ногами на острых копытцах, размахивая железными трезубцами, гнали мужиков и нищих в ад, в центре которого, – там, где пламя особенно густо, – сидел большебородый сатана в красной короне, с воловьими глазами, длинным, горбатым носом и железными крючковатыми когтями. На коленях у него Иуда-христопродавец – рыженький, тщедушный мужичонка с кошельком в руках и без штанов. Над адом – змей с разверстой пастью, копьеобразным жалом и широкими кольцами красных грехов по гибкому зеленому телу; рядом – рыба-кит с полчеловеком во рту и зверь лесной тоже с полчеловеком. На палец повыше – воскресение мертвых, наверху – спаситель, бог отец, бог дух, апостолы, Иван Креститель – мой ангел – в вывороченной шубе, пресвятая богородица, ангелы и мученики.

Я рыдал, глядя на картину, каялся Моте во всех своих грехах, и сестра каялась. Ночью мне снились черти. С ужасом вскакивая с постели, я становился на колени перед иконами и, обливаясь холодным потом и слезами, просил прощения у бога.

Долгое время меня пугало представление о вечности, и слово «никогда» доводило до отчаяния, чуть не до припадков. Этим словом нас пугал законоучитель в школе.

– Кто грешит, – говорил он, исподлобья щупая глазами нас, – кто грешит, тот век будет в огне гореть, *никогда* не прощенный... – и грозил пальцем, пожелтевшим от курения. – Лучше б тому не родиться!

Ад мне представлялся ревучим потоком раскаленной смолы, в которой за ложь и непопечение к родителям, за обжорство, воровство и курение табаку я *вечно* буду гореть, *никогда* не сгорая, *вечно* мучиться и плакать, *никогда* не прощенный сердитым богом. Я пытался всеми силами представить конец «никогда», но не мог. Крича неистово, в полусне-полубреду молился, целуя иконы и землю, прося у них заступничества, помощи, прощения, пока я жив. Мать хватала меня на руки и, прижимая к груди, ласкала, успокаивала, но я вырывался и падал снова на колени.

И Мотя молилась. Она похудела, глаза ввалились, остро выдались скулы, пожелтело и поблекло лицо.

Так было весь пост. Весна и работы отвлекли немного от самобичевания, чему помог отчасти сон: я видел себя на старой княжьей мельнице, окруженным ребятами и маленькими девочками, у которых за плечами были крылья. Сестра сказала мне, что это ангелы, радующиеся моей праведной жизни. В эту пору мы решили с нею стать преподобными, для чего закопаться где-нибудь подальше от людей по шею в землю, как Иван Многострадальный, или жить в лесу вместе со зверями, как святой Тихон Калужский. Подоспевшая страда, когда людям впору было передохнуть от изнеможения, заглушила затею: о подвигах и спасении я перестал думать, хотя еще долго молился все так же усердно и так же горячо...

С глубокою отчетливостью запечатлелась в душе моей такая сцена из школьной жизни. Раннею весной подвыпивший отец с компанией соседей и родственников, зайдя однажды в избу, сказал мне:

– Почитай нам что-нибудь, сынок.

*Сынок!* Я даже не поверил! Это был первый и единственный случай в моей жизни, когда он назвал меня сыном своим. Захватило дыхание от радости, хотелось броситься к нему на шею и заплакать счастливыми слезами, поцеловать его руки и, крепко прижавшись, самому сказать что-нибудь ласковое, душевное...

Было вознесение. Я прочитал им историю праздника. Я с таким увлечением сделал это, так мне было приятно и весело, в ушах так сладко звенело чудное слово: «сынок», что все невольно залюбовались мною.

А отец подозвал меня ближе к себе, маня пальцем и любовно глядя добрыми глазами: он гордился мною, старый. Схватив обеими руками мою голову, он близко-близко наклонился и поцеловал меня.

– Милый мой, славный Ванюша... дитячко мое...

У него по щекам текли крупные слезы, прячась в широкой бороде, изрубцованные пальцы перебирали мои волосы, а затуманенные слезами глаза ласкали и грели.

– Хороша эта штука – грамота, – сказал кто-то, вздохнув. – Карапуз еще, мальчонка, а все понимает, не как мы, грешные: смотрим в книгу, а видим фигу.

– Учись, родной, учись... – шептал отец. – Я не буду приневоливать тебя к работе нашей, пустая она и неблагодарная... Учись!.. – потрянул он головою. – Находи свою светлую долю, я не нашел... Искал, а не нашел... – Он опустил руки, вздохнул и промолвил, глядя в землю: – Я бы хотел, чтобы ты хоть один раз в жизни сытно поел... да... и не из помойного корыта. Я весь век голодал, а работал, как вол, больше... Учись, ты, может быть, пробьешь себе дорогу... Мы умрем скотами, падалью, а ты ищи свое счастье и учись, понял?

– Понял, – прошептал я, прижимаясь к нему.

Отец снова поцеловал меня, трепля по волосам.

– Эх ты, Ваня, Ванечка, голубчик ты мой!..

Я разрыдался от счастья.

### ХIII

Осень. Сбившись в плотную кучу, мы сидим на берегу реки – Цыган, Тимошка, Мавра, я и еще кое-кто из ребят. Рассказываем друг другу разные истории, смотрим на тихую воду и белую паутину, которая топкими светящимися нитями летает по воздуху, цепляясь за чапыжник и древесные ветви. Мечтаем.

– Лето прошло, – задумчиво говорит Мавра.

Пока еще играет солнце, отражаясь перламутровыми блестками в реке; золотится разостланный по лугу лен; над нами вьются ласточки, кувыркаясь и ныряя в светлом и прозрачном воздухе; крикливою стаей мечутся скворцы, перепархивая с места на место, но во всем уже чувствуется особая, осенняя усталость: как будто земле и небу, реке и ласточкам захотелось смертельно поспать, отдохнуть, собраться с новыми силами; жмурится солнце, бодрясь и скрывая от людей докучливую зевоту: красновато-бурыми и лиловыми мазками оно бросает свои лучи по серым облакам, далекому лысому плоскогорью, по вершицам деревьев и спокойной глади дремлющей реки, сияясь зажечь ярким полымем небо, расцветить багрецом даль, позолотить вершины, но сейчас же торопливо срывает краски: ни к чему-де это – зима скоро, стужа.

Стыдливо развернула последнюю зелень и последние цветы земля: не хочет признаться, что и она устать может, и ей ли, богачке, щеголять теперь чахлым клевером и пыльным подорожником, размашисто-лапчатыми лопухами, дягилом да конским рыжим щавелем?..

Тихими сумерками ложатся неуверенно прозрачные тени прибрежных ракушек на серовато-пепельную землю; прощально улыбается день. За рекой, на княжеских покосах, мохнатыми шапками высятся стога, с кучками ворон на вершинах. Длинными рядами тянутся необработанные копны ячменя и пшеницы, а меж них, с каймою полыни по сторонам, ужом ползет серая дорога. Морщинистая даль сливается, темнея, с частым гребнем леса.

– В волость книжки, говорят, прислали, – прерывает сонную тишину Цыган, цыркающая сквозь зубы.

– Книжки, говоришь? Какие? – встрепелась Мавра.

– Черт их знает – люди сказывали, – пожимает он плечами и, помолчав, добавляет: – Будут раздавать их, книжки-то... а зачем – не знаю... Велено будто читать, кто грамотен...

Подняв голову, смотрит мечтательно на небо:

– Эх, скворцы-то, словно пчелы, чёмер их схвати!.. Из ружья бы теперь...

Неожиданная новость глубоко запала в душу, и я весь вечер думал о книгах. Пытался поговорить о них с отцом и матерью, но те ничего не могли мне сказать.

– Я ведь в бумагах-то, сынок, не понимаю, – ответила мать, а отец, почесав поясницу, зевнул и полез на печку.

– Насчет новых оброков эти книжки, – проворчал он.

На крыльце затопал кто-то, хлопнула щеколда – Мавра прибежала.

– Завтра не сходишь со мною к Парфен Анкудинычу? – потупившись и искоса поглядывая на домашних, промолвила девочка. – Знаешь, насчет этого...

Меня будто осенило.

– Непременно ходим, непременно! – закричал я радостно. – Как поднимемся, сейчас же сбегает!..

Утром, постучав тихо в двери, мы пожелали вышедшему сторожу доброго здоровья, похвалили новую кадку, поставленную в сенях для воды, сказали, что кончается лето и близки занятия, потом справились об учителе.

– В книжки смотрит целый день, – ответил важно старик. – Дошлый он до книжек, страсть: день и ночь так и торчит, не разгибаясь, будто курица на яйцах. – Склонившись, сторож таинственным полусшепотом говорит: – По-моему, бо-ольшущую надо голову иметь, чтобы одолеть по-настоящему писанье, бо-ольшущую!.. Вон на Хуторах мужик был – Кузя Хлипкий – одну только библию прочитал, да и то ума решился, а у нашего их, может, двадцать пять, и все – одна одной толще... Посиди-ка над ними – хуже косовицы уломает.

По привычке вдруг звереет и шипит:

– Не галдеть!..

Мы смеемся.

– Ты, Ильич, там с кем воюешь? – послышался сзади голос учителя.

– Грачи к тебе прилетели; принимай, коли охота... Ноги шапкой вытри, бестолочь!

– Это вы, друзья? – радостно воскликнул Парфен Анкудиныч, выходя из комнаты и застегивая ворот рубашки. – Ну, здравствуйте! И ты, Мавруш, пришла проведать? Добре, добре... Идите в хату чай пить.

После четвертого стакана я сказал:

– Вот Маврушка насчет книжек все думает: что там за книжки присланы в волость?

– И ты думаешь, – сказала девочка. – Мы оба...

– Ага, насчет книжек – дело! – воскликнул учитель и рассказал нам, что у нас при волости будет бесплатная земская библиотека, откуда можно будет получать всем книги.

– Книга – нужная вещь: она – друг, – наставлял нас учитель. – Книга учит жить людей; непременно запишитесь.

Через неделю я получил: «Вениамин Франклин, его жизнь и деятельность» и «Полное собрание сочинений И. С. Никитина», а Мавра – «Австралия и австралийцы» и «Параша-Сибирячка».

– Спасибо скажешь и царю, – рассуждал Калеван, размахивая «Графом Монте-Кристо», завернутым в тряпицу. – Заботится о черни: книжки вот прислал, чтоб зимой не скуплю было, то, другое, пятое... Господа, паршивцы, его одолели, – повторяет он любимую мужицкую жалобу, – а то бы он не так показал себя.

Обе книжки я прочитал в один присест – за вечер и ночь.

Несколько раз мать поднималась с постели и насильно тушила лампу, хлопая меня по голове, отец грозил выбросить в лохань «дурацкие побасенки», потому что керосин теперь – четыре копейки фунтик, но я, переждав, когда они засыпали, снова зажигал огонь и читал.

Утром слипались глаза от бессонницы. Ползая по распаханным грядам и подбирая картофель, я несколько раз чуть не уснул, за что отец кричал на меня и называл нехорошими словами, а в душе у меня то вставала светлая чужая и далекая земля и в ней дерзкий человек, затеявший борьбу с небом, то грустные, тоскующие песни, так складно сложенные, такие звучные, простые и понятные.

Дотянув кое-как до обеда, я убежал с книгой стихов в амбар и снова перечитывал их, а вечером, при огне, сам написал стихотворение, озаглавив его:

## Наша жизнь

Близко речки стоят хаты –  
Не убоги, не богаты:  
То без крыш, то без двора,  
Кругом нету ни кола,  
На стенах везде заплаты.

Наш народ все неуклюжий  
И подрагаться любит дюже;  
Он прозвание всем дает,  
В праздник песенки поет.

Начиная с крайнего двора, я перечислял всех осташковцев – какие они есть:

Дядя Тихон – килловатый,  
А Митроха – жиловатый.  
Есть Ориша, толстый пупок.  
Есть и староста сельской –  
Кожелуп, дурак надутый,  
Он жену взял из Панской...

И так – до другого конца всех подряд. Закапчивалось мое писание так:

Каждый день здесь ссоры, драки,  
Каждый день здесь визг и плач.  
Вот поеду с отцом в город –  
Там куплю я им калач:  
Может, бог даст, перестанут  
И немножко отдохнут,  
Драгаться-биться позабудут,  
Покамест калач-то жрут...

Ребята, выслушав на следующий день мою песню, пришли в восхищение.

– Вот это важно, – сказали они, – только знаешь что? Матерщинной ее надо подперчить – слов пятнадцать!.. Тогда, понимаешь, – скус другой, петь будет можно...

– А если так, без матерщины? – попробовал защищаться я, – Ее и так бы можно спеть.

– Ну, брат, не та материя! – засмеялись товарищи. – Про всех бы, знаешь! Подошел к окну и выкладывай что надо, а матюком – на смазку, чтоб не отлипло!.. Как там у тебя про старосту?

Я прочитал.

– Ну вот! А тут бы – обложить его, ан смеху-то и больше б.

После ужина я присочинил, что советовали товарищи, и, кроме того, выдумал припев:

Гей, куриный бог – Барбос,  
Колышек-войка.  
Килловатый, жиловатый,

Шухер-мухер, черт горбатый,  
Жители без толку!

Шумной оравой мы бегали вдоль деревни от одного окна к другому, распевая с гиком и присвистом срамную песню.

Вдогонку нам летели поленья и кирпичи; визгливые и злые бабьи голоса посылали проклятья и невероятные пожелания распухнуть, подавиться колом. А наутро говорили:

– Володемиров грамотей-то что, сукин сын, выдумал! Старшине бы пожаловаться!

– Поумнел, безотцовщина! Косить да пахать не умеет, а матом лаяться да песни зазорные петь – мастер! Горячих теперь бы дать с полсотенки кутенку, – пускай заглядывал бы в зад...

Пришедшую с жалобой Оришу отец выругал и выгнал из избы, а когда мы остались вдвоем, сказал мне:

– Начитался, стерва? Сам умеешь песни складывать? – и бил до тех пор, пока мог, – кулаками и за волосы.

А через день, когда я побежал в лавку за мылом, меня увидал Митроха.

– Поди ко мне, малец, на пару слов, – кивнул он пальцем.

Я бросился в сторону, и Митроха пустил в меня железными вилами, которые держал в руках. Одним рожком они воткнулись мне в ногу – повыше колена: я упал. Тогда он подскочил ко мне, бледный, говоря:

– Не сказывай дома – я тебе копейку дам!.. На борону, мол...

#### XIV

Гранью моего детства было событие, происшедшее год спустя, летом, в ночь под Илью-пророка, когда мне шел тринадцатый год. Я был судим тогда, в числе шести, всем Осташковским обществом, как вор, и ошельмован, как вор.

Вспоминать этот вечер и особенно этот день – годовой праздник Ильи Надеящего – тяжело, но я решил ничего не утаивать: пусть будет так, как было.

Убравшись с овсяным жнитвом и перевозив домой копны, мы стали ездить в ночное. В поле оставались горохи, проса, картофель и льны – лошадей без призору пускать было еще рано.

– Завтра праздник: можешь пасти до обеда, – сказал мне отец, – лошадь поест лучше, и ты выспишься.

Табун собрался в Поповом мысу у речки.

Темнеет июльское небо, чистое и далекое, ласково смотря на нас миллионами лучистых глаз, горят Стожары, искристо улыбается Млечный Путь – божья дорога в святой город Иерусалим, невидимая благословляющая рука трепетно держит Петров Крест над нашими головами; шуршат по берегу сухими метелками серые камыши, будто старики на завалинке разговаривают о прошлом. В заводи плещется рыба, ухаёт выпь, фыркают стреноженные лошади, жалобно блеет забытый пастухом ягненок.

Чутко насторожив уши, дремлют собаки. Звенят на молодых жеребятках колокольчики. В Борисовке, верстах в трех от табуна, в плотной вечерней тишине сочно шлепает валец: а-ах! а-ах!.. Кружится нетопырь.

А от реки поднимается пар, холстом растилаясь по низине, потягивает свежестью, пропитанной илом и водорослями. Когда ветер забегает с другой стороны, чувствуется запах гари выжженного солнцем поля и полыни.

Ползая на коленях по росистой отаве, мы ощупью собираем в темноте щепки и хворост для костра. Несколько человек, подсучив штаны, режут тростник. Наступив босой ногою на

жесткие корни или порезав о шершавые листья руку, они ругаются, а стоящие повыше смеются и советуют:

– Вы легонечко – не жадничайте... Не в чужом огороде.

Вокруг огня, лежа на боку и животе, подперев кулаками белые, черные и русые головы, лежат малыши, подкладывая в пламя упавшие ветви. Смотря на него синими, карими и серыми глазами, перебрасываются шутками, блестя крепкими, как из слоновой кости, белыми и ровными зубами. Огонь играет на их румяных щеках и темных ресницах, в спутанных курчавых волосах прячутся пугливые тени, молодой смех переливается и звенит, как хор веселых колокольчиков.

– Дядя, расскажи что-нибудь страшное, – пристают они к старику Капкацкому, николаевскому солдату, работнику старосты.

– Смешное лучше, – говорят другие, – про попа или барина.

Изъеденный морщинами, с лицом, похожим на захватанную классную губку, Капкацкий жмурит под лохматыми бровями старые выцветшие глаза, из которых бьет слеза; седые щетиновые усы его пропитаны табаком и пожелтели, давно небритый подбородок торчит ежом, по переносью и лбу лежат темные борозды.

– Сказку? – хрипит он. – А на табак дадите?

Впередой кричат:

– Дадим, дадим, ей-богу! Завтра целую пачку получишь!

– В некотором царстве, не в нашем государстве, а именно в том, в котором мы живем, жил-был царь Латут...

Делает длинную паузу, смотря подслеповатыми глазами в лица слушателей, и заканчивает речь под неистовое ржание и хохот грязною рифмой.

– Это присказка, а дальше будет быть, – говорит он, гнусава и сплевывая беззубым ртом желтую тягучую слюну. – Сошел раз спаситель на землю, а с ним – Петр-апостол, Илья-пророк и Никола-зимний. Видят: бедный мужичок пашет землю. «Бог на помощь!» – говорят они. «Спасибо, добрые люди». – «Что сеешь?» – «Гречу». – «Уродит бог гречу». Идут дальше – богач с пашней ковыряется. «Здравствуй, мужичок-серячок, что сеешь?» Ничего им не сказал богатый – погордился, потому они идут с сумочками и в свитенках заплатаанных, вроде как бы нищие. Обехал богач еще борозду, а спаситель и угодники стоят на меже – дожидаются. Спрашивает Петр-апостол: «Мужичок, что ты сеешь?» Гордый человек посмотрел на святого и сплюнул...

Прижавшись друг к другу, ребята впиваются острыми глазами в лицо повествователя, напряженно ловят каждую гримасу на нем, запоминают каждое слово и каждый взмах сухих рук.

Захрустело жнивье, послышался топот и глухой кашель.

– Ой, кто это? – испуганно встрепенулся маленький Ваня Зубков.

Посмотрев на шорох, Дюка равнодушно сказал:

– С телегой едут.

На фоне потухающей вечерней зари медленно двигалась черная точка, как жук, распластавший черные крылья.

– Сиденье вам, – охнула темная ночь.

– Садись к нам.

– Тпррру!.. Греетесь?

Мерцающий свет костра обнял круглое, обросшее пушистой бородой лицо, шапку спутанных волос, посконную рубаху и лапти.

– Архипка Мухин с работником, – шепнул Зубков соседу. – А я испугался: не межевой ли, думаю?

– Что ты! – пробасил тот снисходительно. – Межевой ездит в полночь, это надо знать.

Спутав лошадей, приехавшие расположились у костра, оба серые от пыли и пота, с красными воспаленными глазами.

– Умаялись, – просипел работник Так-Себе, подгибая длинные жидкие ноги. – Последки нынче добивали, осыпается овес-то...

Его движения медленны и неуклюжи, большой рот обметан волдырями, голова пыльна и нечесана; липкие, потные волосы свисают грязными прядями на уши и бронзовое лицо; заскорузлые руки – как разбитые крылья больной, бессильной, неуклюжей птицы.

– Сказки слушаете? Промышлять бы шли! – говорит, присаживаясь, Мухин.

С давних пор молодежь и дети делают набеги из ночного на деревню, обивая сады и огороды, таская чужих кур, уток и гусей. Это в обычае, считается молодечеством.

– Ступайте, – повторяет Архип, – я кувшин дам для варки. – Мужик щурит узкие глаза и причмокивает: – Важно бы теперь цыплятники хватить – сладкая она, молодая-то... Эх, вы!.. Бывало, вашу пору...

Шесть человек: Андрюшка Жук, Калеван, я, Так-Себе – работник, Федька Пасынков и Алешка Горлан отправляемся на промысел. Никто из нас молодой цыпятины не хочет, но нужно показать, что мы не трусы.

А перед утром, когда запели жаворонки и пар от реки поднялся выше осокорей, нас поймали с поличным.

Товарищи спали мертвым сном. Одежда покрылась росой, и лица посерели, измялись. Медленно тлели дрова, натасканные из изгороди; тонкими струйками шел от них дым, растялаясь ковром по лугу. Мы шестеро дремали у костра, ожидая ужин.

– Вы что тут варите? – спросили неожиданно. Вскинув глаза, оглушенные и растерянные, в предчувствии близкой беды, мы едва проговорили:

– Нет, мы ничего не варим... Сидим и греемся.

Склонившись лохматыми головами, в свитах, перетянутых поводьями, на нас враждебно смотрят три пары глаз. В руках у каждого по палке.

– Поздно сидите... Поддай сюда кувшин!..

Слетела с головы шапка, в затылке отдалась тупая, ноющая боль, закружилась и запрыгала земля.

Нас били ногами и палкой, таскали по земле за волосы, заставляли становиться на колени и просить прощения.

В плотном кругу товарищей, разбуженных шумом и бранью, бегал Архип, всплескивая руками и визгливо крича:

– Смотрите-ка ребятушки, они и посуду у меня украли, сукины дети! Ишь, оголодали, будьте вы трижды прокляты!..

– Дядя Архип, ты помолчал бы, – сказал Андрюшка Жук, – ведь ты же сам научил нас, а теперь ругаешься, а?

Мухин взвизгнул, как собака, которую огрели камнем по боку, и, брызгая в лицо слюною, схватил его за волосы, приговаривая:

– Я т-тебе покажу! Ты у меня узнаешь! Научи-ил? Научил? Воровству я тебя буду учить, проклятая душа?

Откопали перья и пух из-под копны, головы и лапки. Один из пришедших, Ерема Косоглазый, закричал:

– Нестер, утки-то, братец ты мой, наши, глаза лопни, наши! Смотри-ка на мету – от поля палец подрезан!.. А я думал борисовские!..

Опять нас били, таская по земле и вывертывая руки, совали в рот сырое утиное мясо, говоря злобно:

– Жрите! Жрите, ненасытные утробы! Жрите, чтобы вам подавиться, стервам!

Сначала мы плакали, прося прощения, а потом перестали: ни слез уж не было, ни силы.

Изо всей компании никто за нас не заступился. Один лишь Капкацкий начал было укорять:

– Что ж вы увечите ребят, разве они первые? Испокон веку озорство ведется, не годится, братцы, этак!.. Постегали бы кнутом или обротью, дома – отцу, матери пожаловались: пусть платят деньги за убыток, а то что же это...

Но на него закричали:

– Ты, видно, дьявол старый, сам с ними заодно!

Капкацкий плюнул, выругавшись, и отошел в сторону:

– По мне, хоть убейте... Меня ничем не удивишь...

Дома спросили, когда я приехал:

– Ты что какой невеселый? Дрался, что ли, с кем?

– Нет, я веселый, – ответил я, но сами собою брызнули слезы, я выскочил из-за стола и убежал в конопли.

«Эх, скоро узнают все!.. Опять начнут бить... На улице смеяться будут... Зачем мы это наделали?»

Медленно тянется время, голова – как в огне, сердце то ноет мучительно, то падает, готовое разорваться... Не знаешь, как лечь, куда положить голову, о чем думать. Нестерпимо хочется забыть пережитое.

«Умереть бы!.. С мертвого взять нечего... А если станут бить, – не стыдно и не слышно...»

Конопля шелестит. Горячими волнами пробегает по ее верхушкам ветер, она качается, как сонная. Пальцеобразные листья опустились и поблекли; лохматые головки сереют маленькими ядрами спеющих зерен.

Пришла Мотя. Молча села рядом.

– Зачем вы, глупые? – спросила тихо.

– Я не знаю...

– Сходку собирают. Ступай спроси старосту: пожалеет, гляди... На колени перед ним стань...

– Не пойду – мне стыдно, боюсь...

– Ступай. Отец сердит, платить ведь надо, а денег нет... Ругает он тебя...

...В избе у Еремы Косоглазого, хозяина уток, стоим на коленях, целуем ноги и руки у всех, клянемся с горьким плачем, что не будем никогда озорничать, а они пьют чай из светлого самовара, смеются и говорят:

– Знаем мы вас!

Калеван просит:

– Я твоих лошадей буду целое лето без денег пасти, прости нас Христа ради!

Федька обещает еще что-то сделать, и я обещаю, а староста вытирает пиджачной полою румяное лицо с капельками пота на нем, хмурит белобрысые брови, важно спрашивая:

– Что, чертята, плачете? – Бьет меня ладонью по затылку. – Кто кожелуп-то – староста?

А ты – утятник, сочинитель! Я тебе припомню песенку!

Другие говорят:

– Он – мастер на эти штуки. Поглядим, как теперь запоет! Сотский-то близко? Вели бы на сходку их, – пора!..

Эх, горе наше, горе!..

Кольцо суровых бородатых лиц. Посконные рубахи, сапоги в дегтю и лапти. Седой старик толкает меня палкою в плечо.

– Рассказывай, как дело было. Становись посредине сходки и рассказывай... – Жмурит пухлые глаза без ресниц. – Лишнего не привирай. Что ты плачешь?

Сбежалась вся деревня: женщины, дети, подростки. Теснятся около нас, заглядывают в лица, шепчутся:

– Вот они, утятники-то... Били их иль нет еще?

– Ондрюха-то, бесстыжая харя, Ондрюха-то? Жених, а тоже затесался!.. Ему надо больше всех влить!

Руки трясутся, в горле пересохло. Заикаясь и путаясь, передаем, как было дело, и робко молчим.

Вспоминаются наставления матери: «Поклонись на все четыре стороны и скажи: православные, простите меня, глупого!» И я опускаюсь на землю, бессвязно бормоча:

– Православные...

А старик с опухшими глазами трясет меня за плечо и скрипит противным голосом:

– Чем уток-то?

Изо рта у него скверно пахнет, в углах глаз – желтый гной, толстый нос покрыт угрями.

– Чем вы их?

– Колотушкой...

– А? Шибче сказывай! – подставляет большое мясистое ухо, из которого торчат клочья грязных седых волос.

– Колотушкой. Ею колья забивают... старички!..

Падаю ему в ноги.

– По головам небось? Ты погоди, после поклонись... Слушайте вы, не галдите: они колотушкой их! По головам, говорю, или как?

– По головам и по другому месту... Простите меня, глупого!..

Старик дробно смеется, будто чистит ножом сковородку, и кашляет, обдавая гнилым запахом, треплет сухой рукою с шишками на суставах по спине меня и шепелявит:

– Ишь ты – ловкий какой! Как хлопнешь, так и готова?

– Да-а...

– Ловкий, шельмец, ловкий!..

Нанизанные на тонкую бечевку куски мяса нам обматывают вокруг шеи, пухом и перьями посыпают головы и ведут рядком с одного конца деревни на другой и обратно. Улюлюкая, звонко бьют в старые ведра и заслонки, кричат, забегая к самому лицу: «Утятники! Воры!..», заставляют низко кланяться миру, позорят нас...

А меня клонит сон: усталые ноги еле передвигаются, голоса толпы, дикой и жадной до зрелищ, звон посуды и брань кажутся чужими, далекими.

...Ночью загорелся у старосты сарай. Опять крики, звон и топот. Огонь с сарая перебрался на скирды хлеба, оттуда – на избы и клетки. К голосам людским и визгу присоединился набат, рев скотины, плач детей...

Прижавшись к забору, я смотрю на зарево и тихо плачу...

Постарел я за этот день.

## Книга вторая

### Отрочество

#### I

В марте месяце, перед жаворонками, приехал к нам Созонт Максимович Шавров, ското-промышленник и богатый человек из Мокрых Выселок.

– Хозяин дома? – постучал он в двери.

– Дома, дома, – отозвались наши. – Заходите – гостем будете.

В избу вошел коренастый мужик среднего роста, широкоплечий, с небольшою лысиною, краснобородый.

Отец, как ужаленный, соскочил с голобца, оправил рубаху и, моргнув сестре, поздоровался с ним за руку. Мать поспешно сдернула столешник со стола, немые ложки и солоницу, вытерла тряпицей лавку, говоря умильно:

– Присядь покуда что, присядь, миленочек...

Мотя побежала за водой на самовар.

Вздыхая и покашливая, Созонт Максимович неторопливо снял тулуп, оставшись в новом романовском дубленом полушубке с вышивкою на груди и в коломенковой, с махрами, подпояске.

– Старик, чайку бы гостю-то, – несмело вымолвила мать.

Отец весело ответил:

– Девка побежала уж, – и опять незаметно моргнул матери, шелкнув себя под подбородок.

Мать схватила из угла стеклянную посудину.

Гость сказал отцу:

– Я насчет должку, Лаврентьич... Чисто смерть – расходы одолели, подати, страховка, жеребца вот купил... ты уж как-нибудь похлопочи, пожалуйста, а в случае чего – опять ссужу...

Отец, глядя в окно на серую в яблоках лошадь, запряженную в легкие козыри, проговорил, вздыхая:

– Лошадка – важная... Что твой князь теперь ты едешь, Созонт Максимович.

Глаза гостя заблестели удовольствием, но сейчас же спрятались под густыми бровями, и он сокрушенно ответил, оправляя бороду:

– Куда уж нам!.. Намедни князь-то – с колокольчиком и кучер в перьях... Не угнаться нам за ним, за князем-то...

Созонт Максимович – приبلудный сын Максы Шаврова. У него – ветряная мельница, лавка, маслобойня, крупорушка и денег несметное множество. Половина Осташкова, окрестные деревни и своя – Мокрые Выселки – должники его. При старом князе Дуроломе сестра Максы – покойница Мариша Барыня – была господскою любовницей, потом стала любовницей жена его – Федосья Китовна, а муж – бурмистром. Обе получали много милостей от барина, оттого разбогатели так. Князь Осташков, прежний, умер; Мариша Барыня тоже умерла; Макса теперь без ног, с виду желт и лыс, как чахлый гриб; домом управляет старший сын его Созонт вместе с братом Федором, вдовцом, тоже приبلудным. Они дают деньги в рост, торгуют шерстью, льном, маслом, имеют много земли и скотины, вообще народ очень хозяйственный, первый в волости. На вид Шаврову сорок пять – сорок семь лет, а на самом деле – много больше. Он – сыт, румян и богомолен, говорит тихим, ласковым голосом, любит пошутить с девками, посмеяться, побалагурить или, как он говорит, «поточить балясины». Он шипит тогда, как

селезень, и веселые, колечками, жидкие кудерцы его вьются и подпрыгивают на лоснящемся затылке, а пухлые пальцы в крупных перстнях мягко шевелятся и дрожат.

Созонт Максимович безграмотен, но должников знает, хозяйство и лавку ведет – дай бог всякому, никому никогда ни в чем не ошибается и сроки платежей не пропускает.

– Нынче к шестому тебе, а денжат собрал пять красных, нуко-ся, подумай! – говорит он ласково отцу. – С тебя там что приходится?

– Четыре пятишницы, – кряхтит отец.

– И то никак четыре, – жмурится Шавров. – Четыре, да... Пенечку не измял еще?

Отец чешет живот и сплевывает в угол.

– Ишь ты, веник-то в пороге бросили, холерные! – нагибается он у дверей. – Места не найдут получше, так и суют под ногами!..

– Бабье дело глупое! – смеется гость, – Баба – что овца... Овина два, чай, было или больше? Нынче, слава богу, пенька добрая: зеленая, волнистая, как шелк... Пудиков пятнадцать вышло?

Отец, вздыхая, лезет в горнушку за табаком и кричит Моте:

– Скоро, што ли, самовар-то?

Шавров зевает, крестя рот. Ему надо узнать, цела ль у нас пенька, которая обещана за долг, а отец продал ее, не мявши, еще осенью и отвиливает. Созонт чувствует это, но – играет. С кутника мне видно, как кривятся его губы под пушистыми усами, маленькие, сверлящие глаза иглами впиваются в спину отца, а когда тот оборачивается, тухнут, становясь невинно добродушными, почти ребяческими.

– По знакомству я тебе копейку на пуд надбавлю против базара, а?

– Оно коне-ешно! – говорит отец и бежит в чулан. – У нас от праздничка селедочка осталась, – ухмыляется он, – мы съедим ее за чаем-то, а то еще протухнет, грешная, – и вопросительно глядит в лицо Шаврова.

– Мо-ожно, – тянет гость, – отчего-о нельзя? С нее чаю выпьешь больше... – Обернувшись к вошедшей матери, он говорит: – Мы тут с мужиком твоим насчет пенечки толковали... Благодать у вас, Андреевна, мочить ее в реке!.. Вон у Ведмедевских в копани-то – желтая, кургузая, как жулик, а у вас на подбор – волокно к волокну...

Мать, поставив на скамейку ногу, подвязывает оборвавшуюся лапотную веревку.

– Кабы достатки, – говорит она, вытирая нос, – весной бы рубля по три шла, а то по два с четью ухайдакали.

Отец лезет под лавку за бруском – ножик поточить, а Шавров вздыхает:

– Ишь ты, уж прода-али?... Знамо дело – весна цену надбавляет... Жалко, что поторопились, очень жалко...

– Разве с ними сговоришь? – кричит отец, сидя на корточках. – Прода-ай, старик! Прода-ай, старик!.. Вороны!.. Я им: погодите, бабы, вот Созонт Максимович приедет – разговор у нас с ним был, а они, дубье: по-одати, Христово рождество-о!.. Черти драные!..

Мать удивленно смотрит на отца, будто собираясь сказать: «Что ж ты брешешь, старый дьявол?» – но молчит; сестра моет чашки, я играю с дымчатым котенком Фролкой.

– Значит, та-ак, – гладит бороду Шавров, – поторопились малость; я бы много больше дал... Ну, что же делать? Сами виноваты... Ишь ты – котенок-то какой веселый! – оборачивается он ко мне. – Поцарапал, поди, руки-то?

– Нет, он легонько, – отвечаю я, – он – умный...

Созонт Максимович оправляет подпояску, пристально разглядывает меня со всех сторон и, потягиваясь, говорит:

– Слушай-ка, Лаврентьич, у тебя мальчонка-то никак пустопорожний, а? Отдай-ка, братец, в пастушонки, правое слово!.. Денег-то, чай, в доме мало – самому нужны, а я в цене не обижу...



Мужики расхохотались. Я потупился.

– Что ты оговариваешь? – сказала Китовна. – Заржали, демоны! Накорми вперед, тогда спроси и работу... Ешь, милый, не гляди на дураков, – обратилась бабушка ко мне и подложила новый ломоть хлеба. – Тебе годов двенадцать будет?

– Четырнадцатый.

– Мелкова-ат, – покачала головой старуха. – Ну, да ничего, поправишься, бог даст... Ты ешь получше, не гляди на дураков.

После обеда Созонт Максимович, подведя меня к дверям в горницу, ткнул пальцем:

– Видишь?

В горнице стояли кованые сундуки под ковриками, на окнах, как у попа, кисейные занавески, вдоль стены – в ряд гладко тесанные березовые стулья, на двух маленьких столах – голубые скатерти с разводами, в переднем углу, сплошь заставленном угрюмыми иконами, тяжелые старинные лампадки на медных цепях с неугасимой посередине. Пахло ладаном.

– Чисто в церкви, – сказал я.

– Ходить тебе сюда нельзя, понял? – проговорил Шавров. – В чулан тоже не смей, – ткнул он пальцем, где чулан. – И в лавку не смей... Не послушаешься, отстегаю хворостиной и пошлю домой, к отцу. Ступай теперь с Любашкою поить коров.

Пока не стаял снег, я помогал по дому. Утром бегал за водой на самовар, чистил сени и крыльцо, задавал скотине корм, вил поводья к пашне, резал хворост. С первых же дней меня – не знаю почему – невзлюбила Павла. Гладкая, задорная, самолюбивая, она с утра до вечера хохотала на всю улицу со свекром, Созонт Максимычем, или с работниками, а стоило мне ненароком подвернуться, как она сжимала плотно губы, хмурилась и норовила поймать за щеку или за ухо. Сначала я крепился и, хоть больно, но посмеивался. Раз в сарае, убирая с нею сено, в шутку я схватил даже за грудь ее, но солдатка побледнела и, вцепившись в волосы, с силой ударила меня об пол. Перепуганный досмерти, я молчал. Баба тоже не промолвила ни слова, только ноздри ее вздрагивали.

Вечером Шавров спросил меня наедине:

– Иванушка-пастушок, тебе воспу прививали аль нет?

– Как же, прививали, – сказал я, – Еще маленькому...

– То-то, ты забыл, должно быть, если маленькому. – И, грозя батоном, прошипел: – Я тебе, стервец, привью другую, чтобы к бабам не лез!.. Ишь, пащенок!..

Павлы и хозяина я стал бояться.

Жили мы не в доме, где семейство, а в избушке, во дворе, рядом с баней, и ходили туда обедать да ужинать, а по праздникам пить чай.

На страстной неделе Созонт Максимович привез из Захаровки товарища мне – десятилетнего Петрушу Кривоглазого – сына бедной вдовы Тонкопряхи, с виду замороженного, тщедушного, с цыплячьим личиком и хохолком на голове.

– Вот тебе помощник, – сказал Шавров. – Ты будешь пастух овечий, а ему – телят со свиньями.

Мальчик улыбнулся всем, тряхнул кудряшками и, подойдя ко мне, спросил:

– Тебя как звать?

– Ваньтя.

– А меня – Петруша, давай жить приятелями, ладно? – Он обнял меня. – Ты тоже первый раз в работниках?

Вечерами, после ужина, в избушку приходил слюнвявый Влас, хозяйский сын, садился на полати и, боязливо поглядывая в окна, старательно крутил «собачью ножку». В двадцать два года он боялся при отце курить. Говорят, лет семь назад Влас был веселый песенник и гармонист, любил рядиться, ночи напролет таскался по вечеркам, а потом будто ему «поприт-

чилось». А другие говорили, что Созонт, захватив его у выручки, ударил чем-то в темя. Парень ошалел, оглох, отвесил нижнюю губу, стал заикаться. Таким и женили его на Варваре, своей деревенской девушке, из небогатых.

Старший работник Василий, кучерявый мужик лет под сорок, садился с лаптем у шестка, Пахом, его сподручный, лез на голобец, а мы с Петрушей – на печку, к прусакам.

– Ну и что же? – начинал всегда Пахом.

Это был бездомный парень, осенью отбывший призыв, угловатый в движениях, больше-ротый, как лягушка, со впалыми висками и приплюснутым носом, отчего лицо его казалось плоским днищем, на котором торчали острые скулы, а хрящеватые, нечистоплотные уши, черные прямые волосы, пересыпанные перхотью, и глупая улыбка дополняли общую непривлекательность его облика.

– Вот тебе и что! – незнамо чему ухмылялся Влас в ответ, картавя, кашляя и заикаясь.

Жадные, трясущиеся, с красными от напряжения лицами, они до поздней ночи, сидя друг против друга, наперебой рассказывали срамные истории про баб, щеголяя грязными словами, отрывисто хихикали, ругались, смачно сплевывая на стену, и тянули без перерыву вонючий трехкопеечный табак.

Влас бахвалился, сколько работниц он испортил – то насильно, а то за конфеты или ситец, как они плакали и жаловались «бате». Пахом, слушая, рычал от радости, колотил ногами о помост, опрокидываясь на спину, и расспрашивал, как тот портил их, что говорил им и что они говорили.

– У Феклушки Глазовой мой мальчуган-то, с места не сойти! – говорил хозяйский сын. – Я как увижу теперь мужа, непременно спрошу: жив ай нет, скажу, мой парень?.. У Анисьи – тоже мой, у Ховры – тоже мой...

– А свою не прозеваешь? – спрашивал Пахом.

– Моя крепкая, – крутил лохматой головой Влас.

Батрак подзадоривал:

– Я вот ее... прищемлю когда-нибудь...

Полоумный Влас тарачил желтые глаза, а мы с Петрушей заливались звонким хохотом.

– Прищечи, прищечи, Пахомушка! – кричали мы. – Покрепче ее, ведьму!

– Цыц, вы, сволочи! – орал во всю глотку Влас, стуча кулаком по полатам. А потом широко улыбался: – Поди, робята, страшно, как я закричу? Небось думаете: сейчас смерть? – Помямлив, почесав затылок, говорил, обращаясь к Пахому: – А я твою прищемлю, что? Попался, сват? – и подпрыгивал, весело потирая руки.

Василий, всегда будто не слушавший болтовню, говорил, держа в зубах очиненное лыко:

– Облом мамин, у него же нету!.. Его жена еще во стаде бегаёт.

– А я обожду-у! – заливался Влас. – А я обожду-у!.. Попался, парень? А я обожду-у!.. Ты мою, а я твою!..

Иногда на этом все кончалось. Влас, чувствуя себя победителем, неистово кричал, махая лапами, а мы четверо катались со смеху над ним. Уверенный, что все поражены его находчивостью, он ржал еще громче, до тех пор, пока его не пострадает кто:

– Старик, кажется, шатается под подворотней.

Парень бледнел, осекался и тихонько лез в угол.

Иногда же, взбешенный насмешками, Влас бросался на Пахома с кулаками, а тот, зная, что слюняй отцу не жалуется, бил его чем попало по лицу и голове. Влас, рыдая, выбегал на улицу.

Утром драчуны мирились. После ужина хозяйский сын опять приходил в избушку, и опять шла речь о бабах, неизменно начинаясь:

– Ну и что же?..

– Вот тебе и что!..

Изредка к нам заглядывали соседи. К срамным разговорам присоединялись ведьмы, колдуны, утопленники, домовые и разная пакость. Мы с Петрушей, тесно прижавшись друг с другом, дрожали, Василий что-нибудь мурлыкал у шестка, а на улице скрипели ветлы, зловеще дул сырой весенний ветер, трещал лед и выли на разные голоса собачьи мартовские свадьбы.

Старший работник Василий, Вася Батюшка, в разговоры не вступал ни при своих, ни при чужих людях, а при драках отворачивался в сторону. Это был степенный, молчаливый человек, читавший по праздникам святцы. У него была своя избенка в Мокрых Выселках, шестеро золотушных детей, надел земли и трегубая жена на сносях. Каждый вечер, когда на хозяйской половине тушились огни, к нашему окну осторожно пробиралась дочь его Грунька Конопатка и тихо, как собака, скребла в раму. Василий, побряхтывая, накидывал на плечи полушубок. Иногда же, не вставая с места, просто разводил руками – шорох прекращался. Девка прибегала за крупой и солью, которые воровал Василий для домашних.

Раз я захватил его в амбаре у пшена. Увидав меня, работник поспешно отскочил от сусека и стал копать на полке с инструментом.

– Петруш, наверстку не видал тут? – спросил Вася Батюшка, гремя долотами.

– Это – я, дядя Василий; Петька у колодца, – отозвался я.

– А-а, это ты?.. Я наверстку никак не найду... – Смущенный, он неумело прятал лицо, становясь ко мне спиной.

Подойдя к сусеку, я промолвил:

– Сровнял бы пшено-то, а то ямы... догадается... Ты это для Груньки?

Вася Батюшка спросил:

– Скажешь или нет?

– Если спросят, скажу.

Он звякнул клещами, которые держал в руках.

– Дур-рак! – сказал он.

Бросив в угол клещи, заровнял гусиным крылышком пшено, а сверху потрусил мукой, будто издавна запылилось.

– Богатому имущество хочешь копить? – спросил работник, опираясь на дверную раму. – Эх ты, червь! – и в досаде сплюнул.

– Я, дяденька, ничего, – испуганно прошептал я. – Если сам не таянется, я не съязычу, дай бог провалиться на этом месте! – и я на все углы начал креститься.

– Обокрасть богатого не грех, – гневно молвил Вася Батюшка. – Понял? – притопнул лаптем он.

– Понял, дяденька, понял, – ответил я поспешно. – Все как есть понял: обокрасть богатого не грех!..

– То-то же... Ты куришь? На вот на сигарку полотборки.

Работник вышел из амбара.

Вечером у нас опять была баталия Пахома с Власом, опять скребла Грунька за окном и опять выходил Василий в сени, причем из кармана у него торчало горлышко пивной бутылки с постным маслом. После драки, в этот вечер особенно жестокой, пришел старик Севастьянов, ночной сторож, и рассказал, как в полночь на Казанскую, после того как он, выпив «малость», проводил гостей, нечистый дух загнал его на Каменную Лощину, за шесть верст от деревни, и как он спал там до утра в ручье, а вокруг него плясали черти, мыши, три бурых кобеля, покойница Сычиха Ведьма и Кривой Рогач, дурновский мельник. Рассказывая, старик сплевывал от омерзения, крутил квадратной головою, то и дело взмахивал руками, выл и кашлял, а чтоб крепче верили, божился, как торгош. Петя, мой подпасок, так заслушался, что чуть не хлопнулся с печки на голобец, а я все время думал над словами батрака Василия: «Обокрасть богатого не грех».

«Почему не грех? – ломал я голову. – Почему осташковцы, стащив что-нибудь у князя, молчат, а он бахвалится? Почему конокрады и другие воры ходят по ночам и берут скотину незаметно? Потому что они чувствуют, что делают гадкое, нехорошее дело, оттого и ночь им на руку. Года два назад, даже меньше двух, меня самого срамили на все корки середь мира, а поймав с поличным, трепали до иступления и все за то же: за уток, за чужое, за воровство... И вот вдруг в Мокрых Выселках, немудрой деревушке в шестьдесят дворов, оказался человек, кудрявый Вася Батюшка, трегубой жены муж, который походя таскает хозяйское имущество и сам себя за то похваливает, говоря: „Обокрасть богатого не грех“. Отец мой и мать воровству меня не учили и, если бы услышали об этом, не признали бы за сына». Я терялся. «Есть что-то неладное в словах Василия, – думал я. – Ведь князь – тоже богач, даже не чета Шаврову, поп – тоже богач и старшина – богач; у них мужики воруют сено, дрова, копны с поля и все, что попадаетея под руку, однако же я еще ни от кого не слышал, чтобы на людях они оправдывали воровство».

Когда Севастьянов ушел, я спросил у Пети:

– Ты, Петруха, любишь воровать?

– Кого? – спросил товарищ, даже испугавшись.

– Пшено, масло постное, крупу... Ты воровал когда-нибудь?

Мальчик удивленными глазами уставился на меня, не понимая.

– Зачем воровать? – наконец, спросил он. – Это ж грех!.. Мне мама не велела, нам учитель заповедь читал и книжки... Я не согласен, не буду!.. – бормотал он, словно подозревая меня в том, что я его сбиваю к воровству.

– Ты погоди, – придвинулся я ближе и так, чтобы никто не слышал, рассказал ему о Василии, о том, как ходит Грунька Конопатка под окно, о сегодняшнем амбарном происшествии и о поразивших меня словах работника.

– Не верь ему, Ваня! – горячо воскликнул мой товарищ, выслушав меня. – Неправда это! Он нарочно так сказал, потому испугался!.. Крест господний, он с испугу!.. – Петя схватил меня за руку. – Не верь ему, ни за что не верь! – шептал он.

– Вы там что шушукаетесь, ей, орлы? – спросил Василий.

– Так, дяденька... Насчет девок разговор у нас, – отозвался я.

Пахом на мои слова залился хохотом, потом выругал нас; Василий тоже засмеялся.

– Рановато, – сказал он, – поди-ко, еще не смыслите что к чему?

Пахом ему ответил:

– Этот, как его... Кривоглазый-то, пожалуй, впрямь не смыслит, а Ванек – пройдоха!.. Ванек облапошит Любку, вот посмотришь!..

Вася Батюшка хихикнул:

– У тебя, парень, у самого зуб на нее горит, я ведь примечаю!..

Я сказал Петруше: – Слышишь, какой у Василья голос-то веселый!.. И не тужит... Может, вправду, греха нет? Расспросить, что ли?

– Расспроси, – промолвил Петя, но сейчас же спохватился: – Нет, Ваня, не надо лучше, брось... Мама говорила: грех. Тебе мама говорила? Ты не слушай их, – они плохие. Чуешь, как Пахом ругается? Он злой-презлой, я знаю, а Василий – хитрый... смирен, а хитрый...

Однако, несмотря на слова Петруши, я наутро спросил работника, почему не грех обокрасть богатого.

– Ты все с тем же? – нехотя ответил Вася Батюшка, и по лицу его пробежала досадливая гримаса.

– Мать меня учила, дяденька, не воровать, а ты вот другое говоришь... Я все думаю над этим.

– И я тебя не учу, – сказал Василий.

Мы месили лошадям резку. Серый жеребенок наступил работнику на ногу. Вася Батюшка, схватив полено, торчмя под живот стал бить его: от такого битья нет ни звука, ни следов, а боль сильная.

– Сокрушил бы вас с хозяином! – шипел змеей Василий. – Опостытели вы мне!..

Я молчал, стоя поодаль.

– Об хозяине ты думать перестань, – сказал работник, беря из моих рук севалку с отрубями. – Он нас сам жмет так, что аж спина трещит, понял? – Василий покраснел от злости. – А мне что ж-жалеть его, родимца? – крикнул он. – Да пусть он сдохнет, аспид рыжий!

После я заметил, что добро воруют и Пахом, второй работник, и хозяйский сын, подумал и махнул рукой: делайте, как вам угодно...

## II

Пасху провели со снегом, ветром и дождями. Устроили было релья у ворот, но никто за всю неделю не катался. Прояснилось небо, и земля очистилась на Фоминой: в пять-шесть дней согнало снег из ложбин, высушило дороги, а луга одело мягкой зеленью. От земли пошел крепкий здоровый запах, ракички и верба унизались восковыми гусачками, зацвела душистая черемуха, как кутья, налились и разбухли березовые почки, а из надсеков в стволах потек светлый сладковатый сок.

Мокрые Выселки завозились и забегали, как муравьи. Спешно чинились сохи, бороны, телеги; с утра до вечера в кузнице гремел молот, вперемешку со смехом и возгласами.

Вдоль выгона, задрав трубой хвосты, как сумасшедшие, носились жеребята, а за ними, пьяные от счастья, ребятишки и собаки. С безоблачного голубого неба смотрело весеннее солнце, беспокойно металась скотина во хлевах, а по пашне пеленою стлалось марево.

Всем семейством с раннего утра мы чистили двор и улицу, готовясь к молебну. Одни скребли вилами навоз, бросая его в тачку; другие убирали бревна и хворост от заборов; бабы подметали, а мы с Петею, садясь попеременно на Мухторчика, возили тачку в огород. На хороших харчах товарищ за две недели порозовел, повеселел и хохотал, как стригунок, прыгая на все лады возле больших, заигрывая с Любкой, со мною и с Варварой. Шавров, глядя на работника, добродушно улыбался:

– Ишь ты, демон, вьюном крутится!

На крыльцо из душевой хаты выползла Федосья Китовна, сухонькая старушка небольшого роста, очень богомольная, с темными родинками на правой щеке, разговорчивая. По привычке, оставшейся еще от крепостного права, Китовна носила высокую кичку с подзатыльником, китайчатый шугай и нарукавники, а вылинявшие жидкие косицы заплетала над ушами в два крысиных хвостика. Щурясь и блаженно расправляя косточки, бабушка покрикивала:

– Петрик! Ваня! Подберите вот тут щепочки!

Мы наперебой летели к ней и с усердием мели и чистили.

– Бабонька! – кричал Петрушка. – Милая!.. – и, не зная, что больше сказать, колесом катился по двору.

– Ах вы, козлики! – смеялась Китовна. – Всякая-то у вас жилочка ходуном ходит!.. – И глядела поверх крыши в голубое небо. – Березовки бы нарвали мне, ребятки!..

– Нарвем, бабонька, нарвем!.. И березовки, и хмелю, и грибов, и всего, чего твоя душа захочет! – звенел Петя. – Дай ты нам управиться, пожалуйста, всего нарвем.

День смеялся. Земля пела.

С колокольным звоном принесли из Кочек образа. На краю деревни, у околицы, где открывалось широкое поле, поставили стол под белой скатертью, на нем – чашу с водой, положили большое кропило, свечи, крест и ризы. Сотский бегал наряжать мужиков на молебен, и на солнце ярко золотились его новые лапти.

Вскоре выгон запрудился скотиной, цветными платками и разноголосым шумом. Коровы, разгребая копытами мягкую, сочную, как творог, землю, вырывались из рук; овцы растеряли ягнятишек и шарахались, как полоумные; между ними с хворостинами сновала детвора. Серый, как камень-известняк, длиннородый пастух стоял с кнутом через плечо поодаль, собирая подавание. Староста привез попа с причтом. Толпа сняла шапки, волной расступаясь перед ним, и под ярким солнцем заблестели, как колена, желтые и розовые плечи стариков, копнами вздымались широкие с прозеленью борода, сурово сдвинулись на переносье брови, а губы плотно сжались. По синему небу то замысловатыми корабликами, то гордыми лебедями, то тяжелыми ледяными глыбами плыли облака, бросая пятна теней; в перелеске щебетали птицы; выгон волновался и кипел.

– Миром господу помолимся-а! – первым воскликнул тучный дьякон, и хриповатый голос его, такой жуткий в деревянной церковке, здесь, на воздухе, среди тысячеголового гама и рева скотины, показался надтреснутым и слабым.

Все вздохнули в одну грудь, накренились, будто замерли. От стола поднялся пахучий кадилый дым; замелькали красные увесистые руки, крестясь словно гириями; там и сям в цветнике голов пропадали пятна опускавшихся на колени баб.

Окруженный толпою зажиточных мужиков, среди которых пестро выделялся Созонт Максимович, радостный священник в золотом, слепившем глаза одеянии пел, поднимая руки к небу:

– Святителю Флоре и Лавре, молитесь бога о нас!

На скорую руку составленный из школьников хор торжественно ему поддакивал, а отец Гавриил, сладко довольный тем, что пение рассыпчато и по-весеннему приятно, голосисто обращался к новому святому:

– Великомучениче Власе, моли бога о нас!

Хор опять подхватывал и мягкой пеленою покрывал молящихся.

За молебном пелось много и других молитв. Слушая их, было празднично на сердце, потому что с людьми пело небо и прозрачный воздух.

Под конец, тоекратно погружая в чашу сверкающий крест, священник, глядя по выгону, возгласил ликующе:

– Спаси, господи, люди твоя!

Примолкшие школьники метнули на дьячка глазами. Тот взмахнул рукою, – поле, птицы, дети, солнце и весна подхватили еще радостнее:

– И благослови-и достоя-ание тво-е!..

А священник, держа над головою руку, словно сменочетным жемчугом кропил скотину, и в эту минуту он был похож на щедрого царя, полными пригоршнями разбрасывающего своим подданным несметные богатства и счастливого сознанием, что он всеми любим и всем полезен.

Громче всех и голосистее заливался в хоре Петя. Белые льняные волосы его шевелил легкий ветер, лицо покраснелось, и он приподнял его немного вверх, правая рука повисла неподвижно, а тонкие пальцы левой перебирали сборки впереди стоящего чужого парня. Для уха его голос будто голос жаворонка, только громче, душевнее его, или когда слышишь вдали звонкий колокольчик, на заре особенно: луга тогда росисты, лошади по холодку бегут проворно, топот глух, а колокольчик заливается-хохочет, заливается-рыдает, то рассыплется, то вверх взметнется, то замрет, затихнет, словно притаится где-то...

Окропив скотину, батюшка пошел с Шавровым к нам. Созонт Максимович по случаю молебна нарядился в новую поддевку тонкого сукна, смазные сапоги с глубокими калошами и красную рубаху, по жилетке распустил в два пальца толщины цепочку, кудри припомадил, а затылок выбрил.

В горнице Петруша снова пел с дьячком, и так усердно и так радостно, что поп, отец Гавриил, не раз оглядывался, одобрительно качая головою. Потом причт и гости сели отдыхать,

дьякон вытащил кисет с табаком, Павла загремела у шестка посудой, а мы с Петей побежали снаряжаться в поле.

– Робятушки, обождите и меня, – засуетилась Китовна. – Пойдите малость, вместе выгоним.

Разостлав в воротах шерстяной пояс, а нам в руки сунув по веточке освященной вербы, бабушка с молитвой отворила двери в хлев.

– Бяшки! Шурки! Милые!.. Идите со Христом, идите прогуляться!..

Ягнята запрыгали, как мячики, овцы пугливо насторожились, блестя в темноте зелеными глазами и, склубившись, плотною стеною вышли на улицу, за ними – свиньи и коровы. Большой круторогий баран-поводырь подошел к Федосье Китовне за хлебом.

– Нету, Вася, иди так, – махнула на него старуха хворостиной. – Иди в поле, там цветочки выросли!

Баран недовольно мотнул головою и нахмурился. Выждав, когда Китовна стала спиной к нему, толкнул ее сзади.

– Экий демон! – выругалась бабушка, падая на четвереньки. – Подожди, кобель, уж я тебе всыплю, как придешь!..

Баран топнул на нее ногою, словно говоря: молчать, убогая, – задрал голову и важно, как Созонт Максимович, зашагал к воротам.

Становилось жарко. Петя с длинною клюкою и сумочкой за плечами шел впереди. Хватая на бегу травинки, за ним толклись овцы.

– Ваня, благодать-то! – обернулся мальчик, когда вышли за околицу.

Небо было голубое-голубое. Белей снега ползли маленькие облака, а под ними упоительно звенели жаворонки. Воздух, слушая, дрожал и колыхался, как живой. Широкая ровная степь, обласканная солнцем, золотилась и млела.

– Эх ты, матушка! – воскликнул Петя, высоко подбрасывая шапку. – Милая моя!.. – и, глядя с восторгом на поля, залился, запел лучше жаворонка:

Вы зазвоньте, звоны,  
Во всем чистом поле!..

Оборвав, упал на землю и, катаясь по лужку, хохотал, как колокольчик.

Полно, Ваня, тебе по лугу гулять, –

запел он, глядя на меня:

При долине соловьем тебе свистать...

Хитро подмигнув, вскочил, пускаясь в пляс, тормоша меня и приговаривая:

Мое сердце надорвалось плакучи,  
На твои ли русы кудри глядючи!

В полупрозрачной синеве там и сям стоят телеги с яровым. По черной, как деготь, и блестящей пашне бегают жеребята, в бороздах копаются грачи, высоко в небе крушит одинокий копчик, пряно дышит теплая земля.

Петрушка целый день мне не давал покоя. Как разыгравшийся котенок, он метался по лугу, пел на разные голоса хорошие песни, которых знал множество, служил обедню, передразнивал собак, ворон и жеребят, а больше бегал, бегал без конца. То тут, то там между скотины

мелькала его белая рубаха с красными ластовицами, румяное личико и кудрявая голова. К обеду, глядя на него, даже баран развеселился и стал прыгать и кружиться, задрал нос. Петя, глянув, закатился со смеху.

– Ах ты старый хрен! – воскликнул он и, разбежавшись, ловко перепрыгнул через Ваську.

Тот оторопел от неожиданности. Заинтересованные овцы с любопытством подняли головы. Круто повернувшись, баран погнался за Петрушей, чтоб поддать ему, как Китовне, но товарищ, выждав, когда Васька подскочил на два-три аршина, разбежался навстречу и с криком: «Вот тебе и чехарда!» – перемахнул через его голову. Баран даже закашлялся со злости, а Петруша растянулся тут же рядом, притворившись мертвым. С налитыми кровью глазами Васька покружился, словно ястреб, над приятелем, понюхал ноги, поглядел победоносно на овец и, торжествующий, потрогал Петю за рубаху копытом.

– Ты что делаешь, разбойник? – закричал товарищ, вскакивая на ноги.

Насмерть перепуганный, баран шарахнулся в сторону, сбил ягненка, сам споткнулся, упершись лбом в бок коровы. Та пырнула его, баран бросился в лощину за свиньей и, стоя там, фыркал и сердито отдувался, с ненавистью глядя на Петрушу, а мы катались по траве как сумасшедшие.

– Теперь он мне житья не даст, – захлебывался Петя.

– Да, теперь держись, парняга, – вторил я.

Когда смех улегся, приятель посмотрел на солнце:

– Время есть. Измаялся я с ним вчистую...

У ручья мы разломали на кусочки затвердевший хлеб и, обмакивая его в ледяную воду, принялись обедать. Между делом Петя мастерил себе тростниковые дудки.

– Сейчас все овцы в пляс пойдут, – засмеялся он.

С косогора по глинистой пашне в синей нараспашку рубахе и синих портках, с соломенным рыжим лукошком через плечо, к нам спускался худощавый низкорослый мужичонка.

– Робята, спички у вас нету? – стоя против солнца и глядя на нас из-под руки, кричал он тоненьким бабьим голосом.

– Есть, как нету, – отозвался я. – Пастухи – и чтоб без спичек?

Мужик сполз к ручью, бросил на траву лукошко, вытер подолом рубахи потное лицо в красных угрях.

– Чьи вы? – спросил он, щурясь.

– Боговы, – сказал Петруша.

Мужик ухмыльнулся.

– Видно, богатеёвы: скотина-то его...

Опустившись на колени и захватывая полные пригоршни прозрачной, как стекло, воды, он начал шумно, с наслаждением, плескать себе в лицо, приговаривая:

– Вот так здорово!.. Вот так разлюли-малина!..

Смастерив три дудки, Петя лег навзничь и, держа их наготове между пальцами, весело запел:

Соловей, мой соловей, соловей мой батюшка!

Приударил в дудки – те согласно запищали.

Мужик оглянулся.

– Ишь ты, брат, – забавник ты!..

Соловей, мой батюшка, залетная пташечка!..

– Ого!

### Залетная пташечка – дальняя милашечка!

Поспешно вытирая руки, мужик суетливо семеня ногами, повертывался во все стороны, сопел и дергал себя за рубаху, наконец, усевшись к Пете на зипун, промолвил:

– Ну-кось, дай мне поддержать маненечко.

– Разве можешь? – обернулся тот.

– Коли-сь баловался. – Мужик улыбнулся в сырую бороду. Осмотрев внимательно язычки, он продул их и, выдернув из головы пару волос, подложил туда. – Вот как надо – так... Рожка нету?

– Нет.

Мужик рассеянно поглядел на небо, надул щеки, мы притихли... Вдруг под нашим ухом заиграли жаворонки. Петя быстро приподнялся, остро впившись взглядом в пальцы замухрышки. Жаворонки смолкли... В дудках кто-то засмеялся.

– Ах, ты!..

Мужик сидел неподвижно, прикрыв глаза желтоватыми ресницами, а в дудках ворковали голуби, пищали молодые воробьи, плакал ребенок...

– Погоди... Ты... как же это? – Петя весь подался к замухрышке, лицо его дергалось, а руки теребили лапоть. – Ты постой... Ведь это... Слушай!.. Дяденька...

Как у Дуни много думы,  
У красавицы забавы!.. –

взвизгнул мужичонка. Дудки подхватили, – понеслась забавно плясовая, но сейчас же оборвалась.

– Будет! – вытерев губы, мужик передал Петруше дудки. – Надо идти сеять – вечерет.

Крякнув, он заковылял к своей телеге; с косогора обернулся:

– Робята, что ж вы спички-то мне, а? – и вытащил из-за онучи глиняную трубку с выщербленным краем.

Петя сидел неподвижно.

В полверсте, по старому жнивью, пастух прогнал общественное стадо.

Небо розовело. Зажужжали комары.

– Хочешь, я к тебе в работники пойду? – поднялся Петя, но мужик уже шагал по пашне, широко расставив локти, маленький и серый, с круглою заплатой на спине.

### III

Шавров сидел на бревне сзади сарая. Солнце золотило его бороду, играло ясным козырьком новой фуражки, а он весело посмеивался, глядя на поденщиц, мявших на гумне пеньку. Грудастая девка, с серыми навывкате глазами и с губами, похожими на красные ломти сырого мяса, взмахивая билом, через плечо кричала ему что-то хриповатым голосом, а хозяин тянул шею, глядя ей на икры. Тут же толклись Любка с Павлой, Тонкопряха, две соседки молодайки и Гавриловна.

– Пастыри, вы что же с этих пор? – увидел нас Созонт Максимович. – Солнышко-то еще где? В другой раз так не делайте, а то я вас кнутом!

Пахом со Власом насыпали семена в телегу. Вася Батюшка возился с хомутами, Федор Тырин поил лошадей.

– Ну, что там, сухо на полях-то? – буркнул Федор, обращаясь к Пете.

– И-их! – воскликнул мальчик, – Троица господня!

Федор улыбнулся:

– Мать-то узнаешь, ай нет? Эвон тащит снопы!..

Петя бросил сумку и стремглав пустился к Тонкопряхе.

– Пришла? Пришла?.. Пеньку тут мнешь?.. А мне не скучно... Мне тут весело...

Пришла?..

Вдове Тонкопряхе, матери Петруши, было лет под сорок. Из себя она была высокая, худая и костистая, как бердо, с плоской грудью, загорелым лицом и корявыми руками. До семнадцати лет, девушкой, Дарья Тонкопряха круглый год скиталась по работницам и, кроме слез, нужды, попреков и насмешек, не видала ничего. Живя одно лето у попа в кухарках, она полюбила бондаря соседа, и тот ее полюбил, но у Дарьи не было новой сибирки и «котов» для праздника, а отец справить, по бедности, не мог. Бондарь с матерью согласны были взять ее и без сибирки, но отец его уперся, – счастья Дарья не узнала. Выдали ее в своей деревне через год. Бондарь запил и уехал на Украину. Дарья поревела дня четыре, повалилась у отца в ногах, но пора была весенняя – горячая: надо было полоть просо, огурцы, опаживать картофель; Дарья торопливо принялась за дело, лето маялась, а к осени привыкла. Свекровь Дарью полюбила, муж был тихий и приветливый, жизнь наладилась и потекла в согласии. Иногда лишь, прорываясь, Дарья кляла свою «долю», стискивала зубы и тряслась, как порченная.

Потом появились дети, новые заботы, думы, радость, плач и смех. Сердце Дарьи отогрелось. Словно за те муки и нужду, что преследовали бабу с малых лет, кто-то сжалился над нею и разгладил детским писком и вознею на лице ее суровые морщины; кто-то ласковый шепнул ей на ухо приветливое слово, от которого она повеселела.

Дарья замужем жила пятнадцать лет, вырастила шестерых детей-красавцев, но в проклятый черный год холера всех скосила: свекровь, мужа и ребят, кроме маленького трехлетнего Пети.

Всю любовь, всю ласку и всю нежность, что остались в больном сердце, перенесла Дарья на последнего ребенка, но силы прежней не было: они нуждались. С пяти лет уж Пете приходилось ходить по кусочки, когда в доме не хватало хлеба.

Дарья билась, как в тенетах, бегая поденщицей, а мальчишка рос веселый, бойкий, словно молодой заяц. На шестом году сосед раз взял его в ночное, но не доглядел: Петя близко подошел к стреноженной кобыле, та ударила его копытом по лицу и повредила правый глаз. Окровавленного и насмерть перепуганного, он привез Петю в деревню, обмыл голову, залил березовую глаз, дал крендель и велел сказать, что Петя сам ушибся. Мать пришла с работы вечером, когда ребенок спал. Увидав на нем повязку, разбудила, и когда Петя, с заплывшим сине-багровым пятном вместо глаза, приподнялся на постели и горько заплакал, Дарья ахнула и ночь каталась на полу безумною. Петя окривел.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.